

8(Арм)
Т-57

КАМАРИ ТОНОЯН



ПРОКЛЯТЫЙ ДОЖДЬ

Камари Тоноян родился в 1931 году в Ереване. В 1951—1954 годах он служил в Советской Армии, а потом окончил Институт физической культуры.

Первый рассказ Камари Тонояна был опубликован в 1955 году. Впоследствии вышли его повести «Пощечина жизни», «Девчата» [1963 г.], «На трассе» [1966 г.], а также сборники рассказов «И жизнь кажется ошибкой», «Проклятый дождь», «Часы».

Сборник рассказов Камари Тонояна «Проклятый дождь», который вы держите в руках, — первая его книга на русском языке.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦН ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“. 1967



КАМАРИ ТОХОЯН

Камари Тоноян владеет мастерством лаконично-сдержанного и в силу этого насыщенного повествования. Внешняя бесстрастность его произведений таит в себе непрестанную работу мысли, высокий драматизм, позволяющий относить работы Камари Тонояна к числу наиболее интересных образцов современной молодой армянской прозы.

Герои рассказов Камари Тонояна — обычные люди, которых мы встречаем ежедневно, — старики, сидящие во дворе, маленький мальчик и его отец, ссорящиеся муж и жена.

Камари Тоноян пристально всматривается в окружающий мир, в отношения людей, вслушивается в их разговоры; при всей его внешней сдержанности он впечатлителен, и недаром часто герой его рассказа — ребенок. И еще одна причина, почему дети — частые гости на страницах рассказов Камари Тонояна: он изображает человеческие отношения во всей их сложности, порой неясности, недоговоренности; исследует нюансы этих отношений, их переходы, и тут необходимы точные границы оценок, точный нравственный критерий, — а что может быть непосредственнее, чище, да и вернее, чем впечатление ребенка? И поэтому дети у Камари Тонояна причастны человеческой мудрости.

Камари Тоноян пишет не просто, но его проза вызывает раздумья. Он не ярок; его палитра — серые, холодноватые тона, ритм его рассказов замедлен и монотонен, но за этим пристальное внимание к человеческим судьбам, щемяще-глубокое сочувствие одиноким и подлинный гуманизм.

СКАЗКА ЛЕСНОЙ ДОЧЕРИ

Внизу, на мокром шоссе, машин больше не было. Сквозь ветви деревьев помаргивали огоньки ближних деревень. Дул теплый ветер. На ветвях кое-где еще оставался, но таял последний снег. Под светом полной луны у леса был сказочный вид.

Маленький домик изнутри слабо освещался керосиновой лампой. Печка в домике стояла потухшая.

Мальчик высунул голову из-под одеяла. Прямые волосы спадали ему на лоб, брови у мальчика были широкие, глаза — бессонные.

— Отец, а что делает лесная владычица, когда в лесу тихо?

Отец открыл глаза.

— В минуты тишины и покоя она забирается в самую глушь леса, где никогда не бывает людей, и ждет.

— Ждет чего?

— Ждет бури и урагана, чтобы снова появиться, покружить возле людей.

— А почему она прячется от людей? — спросил мальчик.

— Потому, что знает, что есть злые люди.

— А почему она все-таки хочет быть возле людей?

— Потому, что любит их. Спи!

— Все люди такие? — спросил мальчик.

— Все. Спи!

Отец повернулся к стене. Мальчик опустил голову на подушку, закрыл глаза. «В ее глазах прыгают добрые огоньки. Глаза у нее совсем черные. Таким черным бывает весеннее ночное небо. Она одета в зеленое цветастое платье. Таким бывает весенний лес», — вспомнил мальчик слова отца.

«Если она поверит, что мы не злые, может быть, она подойдет к нашему дому в тихие, спокойные минуты? Надо только, чтобы она поверила. Это трудно», — подумал мальчик. И вспомнил, как отец говорил ему: «Плохой ты у меня, сладу нет». Ему захотелось тут же проверить, так это на самом деле или же отец сгоряча это говорит, когда рассердится.

Он открыл глаза:

— Папа!

Отец не отозвался.

— Папа, я какой — плохой?

— Хороший. Спи, — пробормотал отец.

Мальчику показалось: лесная царица бродит где-то неподалеку — наверное, она подошла в эту спокойную лунную ночь совсем близко к жилью людей.

Мальчик приподнялся на локте:

— Папа!

Но отец уже спал.

Утром после завтрака отец взял ружье и ушел в лес. А мальчик взял портфель и пошел в школу в ближнее село. За день небо обложило тучами, к вечеру разразилась гроза.

Ветер набрасывался на дым, выходявший из трубы, разрывал этот дым на части, мешал с дождем, швырял все это вниз, в сторону, о стены домика, о крышу. Нагие деревья бил дождь, они гудели меланхолично. В маленьком домишке этот гул слышался отдаленно, глухо.

Мальчик сидел съезжившись возле печки, подбрасывал в огонь щепки и смотрел, не мигая, на пламя. Темные окна вдруг омывались светом, снова гасли, и в слабом гуле мальчику чудилось: прямо за окнами, кругом всего дома бушует невиданная буря. И мальчик радовался, что он дома, что в печке горит огонь.

Он переставил поближе к печке мокрые ботинки, подложил в огонь две толстые чурки. Огонь на секунду свернулся, в комнате стало темно, потом огонь запылал, вспыхнул, стены в домике покраснелись, по ним запрыгали блики. Мальчику на минуту показалось — все в комнате качается. Он разглядел на столе буханку черного хлеба, сало, большой кусок колбасы, две луковые головки, сахарницу, стаканы. «Задержался отец», — подумал мальчик и прислушался. За дверью шумел под дождем лес.

И вдруг в дверь постучались. Сначала тихо, потом резко, решительно. Мальчик понял, что это не отец. Он понял, что тот, кто стучится, добрый и скромный, потому что стучится тихо, и несдержанный и капризный, потому что стучится резко и решительно.

Он отодвинул щеколду, открыл дверь.

— Я шла домой, в соседнее село, дождь меня схватил по дороге.

Девушка была одного с ним роста, мокрые пря-

мые каштановые волосы прилипли ко лбу, по лицу стекала вода.

— Входи же, — не вытерпел мальчик.

— Если бы я не собиралась входить, я не стала бы стучаться, — сказала девушка.

Они сели возле печки.

— Ты один здесь живешь? — спросила девушка у мальчика.

— Отец у меня лесничий, — сказал мальчик, — задержался где-то. Сейчас все люди под крышами укрылись.

— А я люблю бродить в такую погоду, — сказала девушка.

— У тебя есть зеленое цветастое платье? — спросил мальчик.

— Есть, — сказала девушка.

Они поглядели друг на друга. Глаза девушки были черные.

— Ты добрый? — спросила девушка.

— Не знаю.

— Моя мать говорит, если трудно пришлось, постучись в первую попавшуюся дверь, добрые люди всегда помогут.

— Твоя мать лесная царица? — спросил мальчик.

Девушка засмеялась.

— Да...

— Значит, ты сама — лесная дочь, — сказал мальчик.

Девушка засмеялась.

Платье на ней было все мокрое.

— Простынешь. Разденься, посушись, — сказал мальчик.

Девушка сжала губы.

— Разденься, — повторил мальчик. — Я не буду смотреть.

Он отвернулся к стене.

— Не оглядывайся, — сказала девушка.

— У нас электростанцию строят, — сказала она.

— Я видел, — отозвался мальчик.

— А ты видел, как лиса гонится за зайцем?

— Видел, — сказал мальчик. — Ты кукушкино гнездо разоряла?

— Не разоряла, — сказала девушка, — я зверей люблю.

— А людей?

— Злых не люблю.

Мальчику захотелось объяснить ей, что он разорил гнездо только потому, что это интересно было, но...

— Не оглядывайся, — сказала девушка.

А он и не хотел оглядываться, ему не хотелось видеть ее такую, какая она сидела сейчас у печки. Он представлял ее в эту минуту совсем другой — в зеленом цветастом платье, волосы гладкие, каштановые, глаза черные, добрые.

«В ее глазах добрые огоньки», — вспомнил мальчик, но захотел сказать проще.

— Твои глаза добрые, — сказал он.

— Это мое, — сказала девушка, — мое, не твое.

Это было что-то неожиданное. Мальчик оглянулся. И увидел ее такую, какая она сидела у печки.

— Не смотри! — Девушка закрылась платьем.

Мальчик быстро отвернул лицо.

— Плохой ты, — сказала девушка.

Мальчику захотелось объяснить ей, что так по-

лучилось не потому, что он захотел увидеть ее такую, какая она сидела перед печкой, но...

— Плохой, — повторила девушка.

И мальчик понял, как трудно объяснить ей что-то. Он замолчал.

Они долго сидели, прислушиваясь, казалось бы, только к лесному шуму. Мальчик чувствовал, как она вздрагивает от каждого раската грома, представлял ее напрягшееся лицо, расширившиеся глаза и чувствовал, какая она беспомощная сидит у печки. Мальчику хотелось подойти к ней, приблизиться, очень близко подойти, чтобы она перестала бояться.

Но девушка сказала:

— Теперь можешь оглядываться сколько хочешь.

— Я не хочу — не хочу смотреть на тебя, — сказал мальчик.

— Я не прошу, — сказала девушка.

Вернулся отец мальчика.

— Отец, — обрадовался мальчик. — Сейчас все поужинаем!

— Ты об ужине только и думал, — сказала девушка.

Мальчик не понял.

— Плохой ты, — настаивала девушка.

— Я вижу, ты гостей без меня принимаешь, — сказал отец, входя в комнату.

— Она лесная дочь, — сообщил мальчик.

— А ты злой дух леса, — засмеялась девушка.

— Вам, наверное, не хочется есть, — сказал отец, — а я проголодался.

Они ужинали безмолвно. Потом отец прикрутил огонь в лампе, и они легли спать.

Мальчик долго не мог заснуть. Он слышал ров-

ное дыхание девушки, чувствовал, что она близко, совсем рядом. Что-то нехорошее тревожило его, и он сердился, что она так спокойно и безмятежно спит. Он не заметил, как заснул. Во сне был лес — зеленый, весь в лучах света, кругом яркие цветы. Мальчик держал девушку за руку, вел ее за собой, и она не была упрямой. Волосы у нее были ровные, каштановые, глаза черные и добрые, одета она была в зеленое пестрое платье. Мальчик вел ее к людям, и она верила, что мальчик не злой — добрый и все люди тоже добрые. Это было похоже на сказку. Это была сказка лесной дочери, еще более пленительная, нежели сказка о лесной владычице, которую рассказывал отец.

Утром лес был такой, каким мальчик видел его во сне. Лес был тихий.

После завтрака отец сказал девушке:

— А теперь беги домой, мать, наверное, заждалась.

Отец с сыном вышли проводить ее.

— Прощай, лесная дочь, — помахал ей отец, он смеялся.

— Ты придешь к нам еще? — крикнул мальчик.

Девушка повернулась к ним.

— Если только будет буря и я буду проходить здесь...

Она улыbnулась черными глазами, подобрала платье, прыгнула через ручей и, рассыпая гладкие каштановые волосы, побежала вниз к шоссе.

Мальчик опустил поднятую руку и долго смотрел ей вслед.

ГОЛУБЬ

У этого человека шапка на голове была старая, козырек посередине разломлен. И брови над глазами, как и козырек, где-то наполовине надламывались. Он стоял в стороне от всех торговцев, через руку у него болталась продовольственная сумка из заменителя, в руках он держал белого голубя.

Когда отец с сыном приблизились к нему, мальчик заметил, что голубь от грязи кажется серым, перья у него помятые, а руки у человека грубые, нижняя губа синеватая и мокрая, глаза красные. Голова у голубя была округлая, и большие круглые были глаза.

Кругом в клетках имелось великое множество голубей — чисто белые, краснохвостые, чернохвостые, рябые, с черной спинкой, с красной спинкой, с голубыми полосами по крылу, с хохолком и без хохолка. Но мальчику понравился этот красноногий, с маленьким тельцем, грязный, захватанный голубь — он казался таким бойким и жизнерадостным в больших ручищах.

— Я хочу этого, — сказал мальчик.

Отец поглядел на него с сомнением:

— На что тебе такой?

— Честная птица, — вмешался хозяин голубя, — чистая порода, выпустишь — не разглядишь

среди облаков; ежели меньше восьми часов будет кружить — сверну шею. Хотите на спор — идемте домой, выпущу, ежели меньше восьми часов покружит — шею сверну.

— Сколько стоит? — спросил отец.

— Денег стоит, — сказал человек. Разговаривая, он склонял голову к плечу, улыбался жалко и бессмысленно и облизывал нижнюю губу. — Немного стоит, пол-литра всего.

— Два пятьдесят, хотите сказать?

— Понимающий ты человек, видно. Кабы не водка, не стал бы продавать, честная птица: полетит — в небе не разглядишь.

— Он не будет его в небо пускать, — сказал отец.

— Как так не будет? — Продававший голубя человек стал вдруг серьезным, отвернулся. Он перекладывал птицу из руки в руку — он не нравился мальчику, и мальчик не хотел, чтобы голубь оставался у него. — Как это не будет? Если не будет, я не продам, хоть сто рублей мне дай — не продам. Несколько зерен брошу в день — пусть у меня живет. Голубь летать должен, а так не жалко разве? Ему летать надо. Не продаю.

Он хотел спрятать птицу в кошелку.

— Но я этого хочу, — мальчик потянул отца за рукав. — Я этого хочу. Других мне не надо, другого я не хочу.

Отец сказал:

— Два рубля — идет?

— Не продаю, — отрезал человек. Он совсем разволновался, казалось. Ему никак не удавалось

запихать голубя в сумку, и голубь мучался в его руках — маленький, глаза круглые, черные.

— Я этого хочу, — сказал мальчик.

— Но ты тогда должен пускать его в небо, — стал объяснять отец, — голубь должен летать, ему нужен свободный полет.

— Я буду его пускать в небо. А другого не хочу.

Человек в кепке пересчитал деньги, которые дал ему отец, отдал птицу мальчику и, пряча деньги в карман, сказал:

— Две недели держи с завязанными крыльями, два дня после этого пусть ходит по крыше, чтобы запомнил крышу, потом можешь спокойно пускать, не потеряется.

Отец заколол булавкой одно крыло у голубя — так он, во всяком случае, далеко не улетел бы. На балконе у себя отец с сыном смастерили голубю деревянную клетку, внутри застлали соломой, поставили две мисочки — одну с водой, другую с пшеном и просом.

В миске с водой голубь выкупался. Мальчик никогда не видел, как купаются голуби: перья от удовольствия топорщились, глаза были влажные; потом он разлегся на дощатом полу балкона, разбросал крылья под солнцем. На следующий день голубь был белее снега.

Мальчику все время хотелось держать в руках птицу, гладить, прижимать к лицу, целовать, но голубь был хрупкий, до него страшно было даже дотронуться. Именно за это мальчик полюбил голубя очень сильно. Он каждый день менял ему воду, чистил гнездо. Когда голубь выходил и разгуливал

по балкону, мальчик садился поодаль и смотрел, чтобы соседские кошки, чего доброго, не сцапали его ненароком. Каждый раз, бросая перед ним корм, мальчик тихонько посвистывал. Как только мальчик начинал свистеть, голубь подходил ближе, и мальчику казалось, он уже узнает его. И казалось, птица не помнила больше про небо и была вполне довольна своим положением. Она очень любила плескаться в воде. Мальчик через каждые три-четыре дня выносил на солнце тазик с теплой водой. Мальчик очень полюбил своего голубя.

Иногда, случалось, на балконе или гуляя по дворику, голубь вдруг вскидывал головку, и короткое и тревожное раздавалось «гу», он словно впервые видел небо, и тогда его круглый глаз смотрел в синеву небосвода долго и неотрывно. Мальчик тоже задирает голову — в далекой-далекой бездонности неба летел крошечный, совсем как точка, белый трепетный голубь. И голубь мальчика следил за ним своим круглым глазом напряженно, и казалось, в такие минуты он забывал и про палисадник, где привык уже гулять и копать в земле, и балкон с теплым, нагретым от солнца деревянным полом, и свое гнездо на балконе, и самого мальчика. Его круглый глаз смотрел бойко и жизнерадостно, и мальчику почему-то делалось грустно в эти минуты. Он вставал, начинал ходить около птицы, чтобы та заметила его и перестала глядеть в небо.

Мальчик мечтал о том дне, когда и его голубь, выпущенный из его рук, полетит в небо, в неоглядную синеву, и сделается там точкой, белой и трепетной.

Однажды утром отец сказал:

— Не давай ему сегодня зерна, пусть голодный будет, чтобы обратно прилетел.

День был солнечный, небо почти что синее.

Отец освободил крыло голубя от булавки. И подбросил его в воздух. Голубь замахал крыльями и тяжело полетел вниз, словно падая, потом, казалось, подброшенный какой-то пружиной, взлетел, замер в воздухе выше крыши, словно не желая улетать. И вдруг перевернулся, покрутился в воздухе, снова повис неподвижно, опять взлетел, стал кувыркаться.

— Играет. Таких голубей называют «играющие». Они самые дорогие, — сказал отец, — самые ценные голуби.

А голубь продолжал резвиться, хлопая крыльями: кувыркаться, замирать, сложив крылья, камнем падать, останавливаться.

— Он спустится к нам? — спросил мальчик.

— Спустится, — успокоил его отец. — Хорошая птица, продавец не обманул нас.

Голубь опустился, сел на выступ крыши, но вниз он не глядел, он беспокойно вертел головой, вглядываясь в даль. Мальчику снова показалось, что голубь забыл про него, и про двор, и про балкон с клеткой.

— Осматривается, запоминает место, — сказал отец, — пусть посмотрит все кругом, запомнит хорошенько, потом ты ему пшена бросишь, он спустится.

И отец ушел в палисадник — надо было подрезать виноградные лозы. Мальчику казалось, должно произойти что-то плохое и непоправимое. Мать позвала его из комнаты, мальчик не хотел идти, но

она снова крикнула, и мальчик пошел к ней. Когда он вернулся, голубь оставался в том же положении и напряженно и тревожно водил головой — туда-сюда, вниз-вверх и снова вглядывался куда-то в даль. Мальчику он очень понравился, еще больше, чем всегда, даже. Подошел отец. Мальчик сказал ему:

— Я хочу, чтобы он спустился.

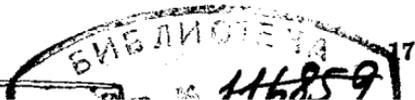
— Брось ему корм.

Мальчик стал бросать на землю зерно, но птица не взглянула даже вниз, даже не оглянулась. Мальчик стал тихонечко посвистывать, она словно не слышала. Тогда мальчик засвистел пронзительно — птица вздрогнула.

— Не спустится, — сказал мальчик, отец не ответил ему, и мальчик понял, что отец тоже так думает — что не спустится.

И тут голубь стал медленно уходить по крыше, и мальчик понял, что это больше не его голубь. И еще мальчик понял, что он чего-то не сделал, чтобы голубь стал его голубем; что, наверное, недостаточно было того, что он давал ему корм, и поил водой, и хотел, чтобы он полюбил его, мальчика. Чего-то недоставало, но чего — этого мальчик не знал. Мальчик схватил длинный прут, поднялся по приставной лестнице на крышу и осторожно, чтобы не вспугнуть, стал приближаться к птице. Он даже снял ботинки. Голубь вздрогнул, подобрался, перья его разгладились, и он показался мальчику шустрым и стремительным. Мальчик никогда еще не видел своего голубя таким красивым. Никогда ему еще не было так грустно.

— Брось корм, посвисти, позови его, — сказал он отцу шепотом.



Снизу послышалось тихое посвистывание отца, легкое постукивание зерна о сухую землю. Птица поглядела, наконец, вниз, пошла, перебирая красными ножками, вдоль карниза, подошла к самому краю — внизу был знакомый двор, зерно на земле.

— Не двигайся больше! — крикнул отец мальчику.

Мальчик замер на месте. И вдруг голубь сорвался, мальчику показалось — полетел вниз, и действительно он полетел камнем вниз, где-то у верхушек деревьев-саженцев замер на секунду и взмыл, покрутился, взмыл еще, сделал круг над домом, и полетел, и полетел, пока не превратился в белую бабочку в синем безоблачном небе. Он поднимался, набирал высоту и скоро сделался маленькой трепетной белой точкой в бездонности неба.

Мальчик смотрел ему вслед, пока не заболели глаза, пока перед глазами не замелькало множество белых точек и он не потерял птицу из виду. Он отбросил прут и спустился по приставной лестнице во двор.

— Он не вернется ведь? — спросил он у отца.

— Нет, — сказал отец, — не вернется.

— Куда он полетел? — спросил мальчик.

— К своему старому хозяину, — ответил отец.

День был сверкающий, в палисаднике блестели на солнце клейкие почки на деревьях. Небо было почти что синее, и мальчик долгое время не хотел верить, что случилось что-то очень грустное.

ГОЛУБИ ВРУНА

Около полудня старик снова появился во дворе. Он стал у порога в белых кальсонах, в наброшенной на плечи старой, военного образца телогрейке, худой, белый как мел. Он опирался рукой о балконный косяк, потом оттолкнулся, шагнул вперед. На солнце его лицо показалось совсем бескровным. Он хотел посмотреть вверх, но шея словно не слушалась его. Так он и стоял — неестественно вывернув шею. Двор был солнечный и от растаявшего снега грязный. Из пустующей давно конуры торчала метла, поблескивало внутри ведро, видна была разбитая лопата. Большие гладкие камни изгороди подсыхали на солнце, медленно нагревались.

— Хороший день, — сказал старик.

Он почувствовал приближение мальчика. Мальчик только что пролез через дыру в изгороди и шел к старику.

— Возьмешь бурого, того, с тремя красными нитями в хвосте, и белую самку, — сказал старик, протягивая к мальчику руку. — Осторожнее, не помни крылья.

Мальчик взял из протянутой руки ключ. Он толкнул тяжелую дверку, вошел в голубятню — птицы всполошились, загукали, заворковали на все лады. Мальчик уже ориентировался в здешней по-

лутьме и знал место каждой птицы. Он взял тех, что назвал старик, по одной уложил их в корзину и закрыл корзину крышкой.

Старик стоял посреди двора, ждал его. Мальчик зажмурился от слепящего дневного света.

— Дойдешь до каменного моста, — сказал старик, — там выпустишь. По одной выпустишь. Эй, — позвал он мальчика, почувствовав, что тот уходит, — пошел уже. — Эй, смотри не сжимай их в руках.

Старик за столько времени ни разу не спросил его имени, и это немного обидало мальчика. Он чувствовал себя уязвленным.

В узенькой улочке грязь была непролазная, дул мягкий свежий ветерок, и слабое тепло солнца было особенно приятно. Мальчик прошел длинную извилистую улицу, завернул за керосиновую лавку и направился к зданию старинной кирпичной персидской мечети; тут он поставил корзину на землю.

Сначала он пустил краснохвостого, с тремя красными нитями в хвосте; он пальцами осторожно разгладил ему крылья, расправил все перышки и, взяв в одну руку, с силой подбросил его в небо. Потом он подбросил белую самку и бурого и, подхватив корзину, побежал назад.

По дороге он то и дело взглядывал на небо — птицы кружили над пестрыми крышами невысоких зданий, над плоскими кровлями, над заброшенной мечетью. Но что-то странное, похожее на тревогу было в их беспорядочном пока, беспокойном полете, словно они не понимали или потеряли друг друга. Потом они, казалось, согласовались, взмыли над куполом мечети, полетели лучше. И все-таки мальчик

чувствовал, что это не то неторопливое, плавное парение, когда они круг за кругом начинают набирать высоту, все более и более сплоченные, и, выставив в небо клювы, как одно целое, начинают на глазах уменьшаться, сливаться с самим воздухом, чтобы еще через несколько мгновений совсем в нем раствориться, став невидимыми в прозрачной лазури безоблачного дня.

Старик стоял посреди двора и ждал, от ветерка ему уже было зябко, солнце не согревало. Он вспоминал шумные сборища любителей голубей на углу улиц Алавердяна и Гнуни. Он приходил туда каждым субботним вечером, здорово под градусом. И ребята спрашивали, обступали его: «Кипес, а ты не врун?..» Он выкидывал вперед руку, совал им под нос часы: «С двух часов белую самку, бурого и с тремя нитками пустил. Восьмой час кружат». — «Врешь, старик, заливаешь, то-то даже похолодало!» — «Пошли на крышу, свет зажжем», — приглашал старик всех. «Старик, старик, а ты не врун? — говорили ему те. — Ты врун, старик. Ты голубей держишь?» И смеялись. Он смотрел на них удивленный — мол, неужели и без того не ясно, неужто еще и спрашивать надо? И всплескивал тонкими длинными кистями рук: «Пошли, посмотрите...» Они вваливались во двор к нему, включали специально проведенный на плоской земляной кровле яркий электрический свет — трехсотваттную лампу, — и старик выпускал всех оставшихся голубей. Голуби разбредались по крыше. Через некоторое время в звездном небе, далеко-далеко, раздавалось хлопанье крыльев, и белыми точками в темном небе обозначались три голубя. С тремя нитками по

хвосту первым стучался ножкой о кровлю. Он опустился на дальний выступ в крыше и, только убедившись, что птицы-приманки на крыше свои, знакомые и сама крыша тоже своя, изученная, шагком-шагом начинал приближаться. За ним белая самка и бурый. «Глядите, — ликовал старик, — и клюв держит закрытым, а?!» Любители голубей расходились притихшие, озабоченные. В темной улочке Аршак спрашивал: «С которого часа, говоришь, кружат?» — «С полудня», — отвечал старик. «Побожись», — не верил Аршак. Старик божился и клялся. И однажды знаменитый Бубул, знаток голубей, сказал: «Сколько просишь за этого, с красным по хвосту?» — «Нисколько, — покачал головой старик, — ни копейки за него не прошу». — «Двести рублей», — сказал Бубул. «Нет». — «Триста». — «Нет, Бубул, нет». — «Пятьсот, — сказал Бубул, — подумай, старик, полтыщи ведь». Старик помотал головой. «Украду», — в темной узкой улочке предупредил Бубул. Ночью старик не спал; он пошел, запер голубятню изнутри и снаружи — снаружи на большой массивный замок. Он спустил с цепи собаку и все равно всю ночь не спал. Утром рано пришел Бубул со своими голубями. Птиц смешали, пустили в небо, с тремя нитками поднялся над стаей, поиграл, покувыркался немного и повел всех за собой, скрылся в облаках. «Слушай, ты, вун, — сказал Бубул, — продай мне этого, с нитками». — «А в небо не побоишься отпустить от себя?» — спросил старик. «Не побоюсь», — сказал Бубул. «Сыном своим поклянись», — потребовал старик. «Пошел ты...» — выругался Бубул. Бубул тогда очень разозлился.

— Сколько времени сейчас? — спросил старик.

— Полдень, — ответил мальчик.

— Видны уже? — спросил старик.

Мальчик поглядел на синее холодное небо.

— Еще нет, — сказал он. — Я их лицом к дому бросил.

— Можно было и так, — сказал старик, — все равно найдут. Ты около моста их подбросил?

— Около моста.

— А сейчас уже видны, наверное? Посмотри, — сказал старик.

Мальчик поглядел вверх.

— Еще нет, — сказал он.

Голуби кружили над соседней крышей, уже совсем спокойные, — наверное, от близости дома. Они могли кружить так, до безобразия однообразно, сколько угодно.

— Я их в Эчмиадзине выпускал — прилетали, — вспомнил старик. — Ну что, не показались?

— Нет еще, — сказал мальчик. — Они сразу высоко поднялись.

— Играли?

— Играли.

— Ты хорошенько смотри, — сказал старик, — они сначала будут маленькие, как точка, все вместе, потом один отделится, повиснет, уйдет вверх, снова встанет, поиграет, еще поднимется, поиграет, а потом к нему те двое подойдут; они уже у облаков будут к этому времени. Потом жди их восемь часов, чтобы спустились. Ну что, виднеются?

— Да, — сказал мальчик, — очень высоко, три точки.

— Все вместе?

— Вместе.

— Как точки?

— Еще меньше, я их еле вижу.

— Они вместе, говоришь? — забеспокоился старик.

— Меньше точки, — сказал мальчик, — один сейчас ушел в облака, не разобрать который.

— С тремя нитками, наверное, — сказал старик, — он задает моду. Ты где? — спросил он и протянул к мальчику руку; мальчик подошел к нему. Он взял мальчика за плечо, для того словно, чтобы быть уверенным, что его рассказ дослушают, никуда не уйдут. — Бубул тогда мне сказал «Тыщу даю!» А я ему: «Поклянись сыном». Поклялся. Я ему отдал этого, с нитками. Он ему крылья завязал, пустил к своим голубям в голубятню. А потом стал смеяться: «Эй, старик, с нитками-то на яйцах сидит, не пойдет больше в небо». Ты Бубула знаешь?

— Нет, — сказал мальчик.

— Бубул, Аршак, Эйдар... — вздохнул старик.

Голуби повисли над крышей, как тряпичные лоскутки. Потом грубо, громко захлопали крыльями. И спустились еще ниже, почти вровень с крышей. Один вдруг повис головой вниз, взлетел, кувыркнулся тяжело, и казалось, другие должны были бы сейчас подняться тоже, и началась бы их знаменитая игра. Но они плюхнулись на кровлю, рассыпались по ней с широко раскрытыми клювами, задыхаясь, и ничто, казалось, не интересно было этим усталым, несчастным птицам, кроме холодного воздуха, который они жадно глотали. Мальчику

сделалось жалко их; им надо было давать корм и пускать гулять по крыше, чтобы они не сидели все время в темной сырой дыре, чтобы видели синее небо и чтобы солнце высушивало им перья. А для того чтобы лететь от старой мечети к дому, они были уже слишком стары и тучны.

— Когда они летят лицом к солнцу, — сказал мальчик, — их совсем не видать. А когда поворачиваются — три маленькие блестящие точки, они все отсюда белыми кажутся. А с тремя нитками все какие-то штуки выкидывает, и все идут за ним, они все как точки маленькие.

— Да, — кивнул старик. — Ты следи за ними как следует, куда они сегодня полетят.

Он выпустил плечо мальчика. И, неуверенно ступая, пошел в сторону, к калитке. Потом остановился, вспомнил что-то, губы у него зашевелились, и он сказал, хотя знал, что его никто не слышит: «Аршак Бубула позвай, смотри, говорит...» Старик снова поискал рукой мальчика и, найдя его возле себя, сказал:

— С тремя нитками от Бубула убежал с завязанными крыльями, бросил яйца и гнездо, пришел, вернулся ко мне...

— Сет, — позвала мать мальчика со своего двора.

Старик что-то шептал про себя, он, наверное, снова забыл про мальчика; мальчик не понимал, кому это он говорит — себе самому или ему все-таки, мальчику? Старик говорил:

— Когда клянется хозяин голубя... это неправда... не верь...

Мальчик почувствовал, что его присутствие уже

ничего для старика не значит. Он пролез через дыру в заборе, пошел домой.

— Он снова связался с этим сумасшедшим стариком, — жаловалась мать отцу, — пропадает у него часами. Не пойму, что они там вместе делают.

Мальчик смотрел из окна на съезжившихся, рядом усевшихся на карнизе соседней крыши голубей; ветерок шевелил им перья на выпуклой груди, холод проникал под кожу, птицы недовольно вздрагивали и прятали клюв под теплое крыло. Старик стоял посреди своего двора, под слабым солнцем. Наверное, ему было холодно.

А вечером мальчик его не увидел из окна. По вечерам старик обычно снова выходил, бросал корм голубям. Голуби слетали с крыш вниз — во двор. «Все спустились?» — спрашивал старик у мальчика. «Все», — громко отвечал ему мальчик. А сегодня уже вечер переходил в ночь, старика не было, и голуби с крыш удивленно смотрели вниз, хлопали крыльями. Им хотелось опуститься во двор, но он был пустой, и они не двигались с места, только удивленно вытягивали шеи.

Мальчик пролез через дыру в заборе, открыл дверь голубятни; голодные птицы посыпали во двор, набросились на корм, с крыш слетели остальные. Дверь в комнату старика была открыта; там, внутри, было сыро и холодно. Старик казался под серым одеялом совсем маленьким и хилым, и лицо его на серой подушке было неестественно белое. Глаза у него были раскрыты, и каким-то необъяснимым инстинктом он почувствовал возле себя присутствие мальчика.

— Летят еще? — спросил он.

Мальчик кивнул головой:

— Летят.

— Надо зажечь свет на крыше, — сказал старик и почувствовал у себя на лице летний свежий ветерок.

Небо темное было, в звездах. Аршак, Бубул, Эйдар стояли во дворе, старик слышал их голоса. Садых держал над головой керосиновую лампу. Садых стоял на плоской кровле, огонь от лампы не освещал ничего, на крыше росла густая зеленая трава, и старик беспокоился, что голуби не найдут в темноте дома. Аршак совсем близко, каким-то удивительно мальчишеским голосом говорил:

— Я вижу, как они летят, они очень далеко, они уже восьмой час летают.

Ветер разносил облака, сквозь облака проступало небо, и старик видел, как в открывшейся синей щели летят три белые точки, летят ровно, согласно, вместе, вот они забрали выше, выше, еще выше и затерялись в сверкающей, ослепительной лазури.

И ЕЩЕ ДАЛИ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ

— Вчера я купила ему козинах с изюмом, он любит это, — говорила мать. — Мне хочется его порадовать, он что-то грустный в последнее время, что-то его беспокоит. Ты бы поговорил с ним.

— Попробуем, — отвечал отец.

Отворилась дверь, в комнату вошел мальчик. Он посмотрел, как отец прилаживает к стене бра.

— Сет, — сказал отец, не разжимая губ, потому что держал в зубах маленькие гвозди, — наверное, ты есть хочешь, мы скоро закончим.

Из их окна на двенадцатом этаже было видно полгорода. Отец, подходя к окну, говорил про эти полгорода: «Прекрасный вид».

— Надо еще ящички к окну приделать, — сказал отец, слезая со стула. — Винограда здесь, конечно, не вырастишь, но гвоздику посадить можно. В магазине виноград по пятнадцать копеек.

Он поймал взгляд сына и не сказал, как собирався: «А голубям твоим — конец», он сказал:

— Все равно, Сет, голуби здесь не приживутся, улетят, а старого двора больше нет...

Спускаясь по лестнице, мальчик думал: на старой улице мальчишки играют сейчас в футбол.

Витя и Геворк, совсем мокрые, бегут к водопроводному крану напиться. «Какой счет?» — кричит им инвалид Гаспар. Дверь Гаспара выходит прямо на улицу, Гаспар сидит перед домом в тени и продает семечки. «Одиннадцать — восемь!» — кричит ему Геворк. «Еще один забейте, еще!» — кричит Гаспар и размахивает в воздухе рукой. Проезжает грузовая машина, мальчишки разбегаются в стороны, машина проходит, и Сет видит низенькие земляные дома и изгороди, облитые красноватыми лучами заходящего солнца, слышны приглушенные, идущие из дальних далей знакомые голоса, и в наступающей темноте, как белые бумажные салфетки, на крыши и плоские кровли опускаются усталые голуби Кипеса. Мальчику кажется — сейчас он еще на ступеньку сойдет, еще пробежит темную лестничную площадку, выбежит из помещения и перед ним в солнечном свете, в жарком воздухе встанут низенькие глинобитные дома на узеньких кривеньких улочках и он снова испытает старое, знакомое чувство тревоги: улочки узкие-преузкие, когда проходит машина, надо прижаться спиной к стене дома или к изгороди. Или зайти за ворота. Машины ходят здесь часто. Улица связывалась у мальчика с этой тревогой — надо было всегда быть начеку. И Сет вспоминает: старого квартала больше нет, он сам видел, как работал бульдозер, как стирал он все, что было на этих кривых, часто перекрецивающихся улицах, — подворотни, и рыхлую кладку стен, и знакомый водопроводный кран. И не играют там больше в футбол ни Витя, ни Геворк, ни кто-нибудь другой.

На улице солнце. По асфальтовой мостовой лени-

во, не поднимая пыли, проплывают яркие, словно только что вымытые, машины, а в горячем воздухе повисли со всех сторон прямые, отвесные формы каменных и железобетонных строений.

— Вы тоже новые?

За углом дома, в удивительно густой и темной тени, он заметил мальчишку в красных шортах. Этот мальчишка в шортах стоял, прислонившись к стене, руки в карманах. Другой мальчишка, с прямыми светлыми волосами, спадающими на лоб, длинноногий, выставив вперед колено, тоже руки в карманах, стоял чуть поодаль и смотрел как-то свысока, задрав плечи.

— Я сразу чую новичков, — сказал мальчишка в шортах. — Меня не проведешь.

Но Сет не собирался кого-либо проводить.

— Эй, — позвал длинноногий Сета, — ты откуда?

В старом квартале мальчишки по вечерам отправлялись на промысел, воровали неспелые абрикосы с деревьев. Позже, осенью, когда земля делалась влажной, шли за виноградом и персиками и играли в ол и «в ремня». Сейчас Сет смотрел на высокого и думал: вот бы поглядеть на него в игре, ну и беспомощным он будет, наверное, в ремне — потеха.

— Ты что, не слышишь? Я спрашиваю, где ты раньше жил? — снова спросил высокий.

— Привет, ребята, — раздался тонкий голос сзади, и Сет почувствовал у себя за спиной что-то грузное. Это был очень толстый и удивительно подвижный мальчик.

— Собираемся, да? — сказал он, и его полное лицо и голубые глаза за чистыми стеклами очков вспыхнули восторгом. — А это кто? — он оглядел Сета. — Армен, ты хорошо его знаешь?

— То есть? — сказал Армен — мальчишка в красных шортах.

— Да так, вообще. Какой-то он не такой.

Сет подумал, что с толстым мальчиком они никогда не станут друзьями.

— Они новые, — сказал Армен. — Да? — повернулся он к Сету. — Они в том доме живут. Верно?

— Играем? — закричал толстый, ударяя об асфальт белый пинг-понговый шарик и с восторгом глядя, как высоко он подскакивает.

А вокруг собралось уже порядочно ребят.

— Играем, — закричали они наперебой, — играем!

Армен стоял, привалившись плечом к стене, Сет стоял рядом — прохладная густая тень от здания падала на них.

— Самвел, твой удар, бей! — Толстый размахивал у стола ракеткой от пинг-понга — он был очень оживлен.

Белый пластмассовый шарик ударился о стол, подпрыгнул, мальчишки сгрудились вокруг стола.

Армен и Сет стояли в тени, под стеной, а совсем недалеко, перед домом, тянулась, терялась вдаль прямая четкая асфальтовая дорога.

— А сам ты где жил? — спросил Сет.

— Раньше мы в Шилачи жили — так район называется, — сказал Армен, — в Бутании тоже жили, это близко друг от друга.

— Бей же, дылда такая, бей, разиня! Отыгрывайся! — кричал возбужденный толстяк.

Самвел неловко подпрыгивал возле стола, переступал длинными ногами и все мазал — не попал по мячу.

— Так что, — сказал Армен, — раньше я еще виделся с ребятами, а теперь нет.

Бутания, представил Сет, — наверное, далеко отсюда. Он почувствовал, что у них есть о чем поговорить с этим мальчиком. Он нагнулся, поднял с земли плоскую гальку: летом они с ребятами уходили купаться в озере, они бросали плоскую гальку так, чтобы она несколько раз подпрыгнула на поверхности воды. Сету и сейчас захотелось бросить эту гальку, чтобы она заскользила по гладкой водной поверхности. Но кругом были одни дома, и по ту сторону асфальтовой дороги тоже были одни дома. Мальчик бросил гальку под ноги.

— Эй, Армен! — крикнул толстый. — Эй, Армен! — крикнул он. — Я Самвела в пух и прах разделал, хочешь, и тебя разделаю, давай с тобой теперь? Не хочешь? Эй, Армен, боишься, и тебя разделаю?

— Неохота, — сказал Армен Сету, — а то бы я этого толстого в одну минуту под орех... чтобы не жульничал, а то на что это похоже...

— А этот твой новый знакомый, Армен, он тоже боится? — не унимался толстый мальчик.

— Хочешь поиграть с ним? — спросил Армен Сета. — Проиграешь — проиграешь, великое дело. Нетрудная игра, все равно надо научиться.

Если бы по ту сторону асфальтовой дороги не было бесчисленных стеклянных окон, Сет на глазах

у этого мальчишки в шортах мог так бросить гальку — дальше дороги, галька бы заскользила высоко и далеко. На глазах у этого мальчика Сет мог взять в руки ракетку, стать по ту сторону пингпонгового стола и, не сбиваясь, бить по белому шару точно.

— Твой удар, — сказал мальчик в круглых очках, стукнув мячом по столу.

— Идет, — сказал Сет и поймал в воздухе отскочивший от стола мяч.

Толстый мальчик был удивительный парень. Он отбивал мяч единым махом, ложился на стол и посылал маленький белый шар в самые неожиданные концы. Сет, тяжело дыша, отложил ракетку.

— Эй, кто следующий? — кричал толстяк, ни на минуту не прекращая крутиться на своих тяжелых, грузных ногах. — Следующий!.. Твой новый приятель, Армен, совершенно напрасно сохраняет такую серьезную мину... Следующий!

Сет шагнул в тень. Перед Арменом не было нужды оправдываться, он сам сказал: этой игре не научишься, если не будешь проигрывать. Наверное, сносить колкие выпады толстяка тоже было чем-то закономерным, в порядке вещей...

— Лилит красивая, — говорит Армен Сету. — Как-то я подкараулил ее у подъезда. Давай, говорю, дружить со мной, а она хлопает глазами, будто я с Марса спустился, ничего не поняла.

— Кто это Лилит? — спрашивает Сет.

— Девчонка одна, — говорит Армен.

— Армен, — кричит один из мальчишек, — я Даниэль Дарье достал, мировая карточка! Слушай, давай твою Влади с моим Тото обменяем?

— Хитрый какой, — говорит Армен, — хочет Влади на Тото обменять. Меня не проведешь.

Нет, это совсем не то, когда бежишь до изнеможения за обтрепанным футбольным мячом так, что каблук у ботинок отлетают, и это не то, когда бежишь по крышам к старику Кипесу и, показывая на еле приметную точку среди облаков, говоришь: «Смотри, дядька Кипес, куда моя Черная Спинка забралась». Здесь они все стоят, выстроившись у стены, в тщательно отутюженных одеждах, руки в карманах, и Армен, мальчишка с беспокойными огоньками в черных глазах, с чуть продолговатой головой и коротким правильным носом, говорит:

— Если приобрести магнитофон, можно собираться по вечерам, у нас напротив каждую ночь танцуют.

И еще Армен говорит:

— Я деньги коплю на мотороллер. Соберу — куплю себе новенький мотороллер, Лилит сзади посажу, покачу по асфальту. «Привет, — скажу толстенькому Сергею, — как пинг-понг поживает?..»

И все это всерьез, никто не думает смеяться, и Сет понимает — это не настроение их, это отношение. Все для Сета ново, непонятно и привлекательно. А Самвел с шапкой в руках, держа ее на весу, обходит их на манер нищего:

— Люди добрые, не пожалейте, кто сколько может... адрес — кафе «Зепюр», крайний столик, кто сколько может.

И Сет видит, как толстый Сергей с возгласом «оп» и, словно вылавливая в воздухе, бросает в шапку круглую блестящую пятидесятикопеечную монету. Сам Сет только сжал руки в пустых карманах.

— Неимущие и несостоятельные, — говорит Самвел, — из товарищества изгоняются.

— Сет, — говорит Армен, — я заплачу за тебя.

И в шапку к монетам летит бумажный рубль. Темнеет. Зажигаются огни. Они идут вдоль асфальтовой мостовой, все вместе, толстый Сергей в круглых, поблескивающих от света уличных фонарей очках шумит громче всех, и шагающий рядом с Сетом Армен говорит:

— Вот куплю мотороллер, объезжу полсвета или сколько возможно, а там уж непременно кто-нибудь заметит, какая для кино находка Искандарян Армен... Ты знаешь, в каких картинах снимался Тони Кертис?

— Нет, — качает головой Сет и думает: хорошо, что не стал рассказывать Армену про неспелые абрикосы и испорченный водопроводный кран, из которого летом и зимой щедрой холодной струей хлещет вода в старом квартале.

Отец вернулся домой поздно. На улице давно уже было темно. Он стал снимать в коридоре ботинки, и мать, показывая на комнату Сета, сказала:

— Поговори с ним.

И отец кивнул — да, это нужно сделать, он совсем забыл.

— Все понятно, — прошептал он жене на ухо, — ребенок привык к старому дому, к ребятам, все изменилось неожиданно для него, понять можно...

Мальчика в комнате не было, он пришел часа два спустя. Он толкнул с размаху дверь, влетел в комнату и увидел в свете телевизора, как сидев-

шие рядом отец с матерью разом повернули к нему лица.

— Я голодный, ма, — сказал мальчик, и мать почувствовала, как дом сразу наполнился знакомым, все остальное зачеркивающим радостным шумом. Она быстро разогрела ужин. Мальчик, стоя рядом с ней, доставал из сковородки горячий жареный картофель и, обжигая пальцы, бросал в рот.

— Я был с ребятами в кафе, — сказал он матери. — Мы пили кофе с булкой, я две булки съел.

Мать поставила перед ним ужин, перед отцом поставила горячий чай в стакане, напомнила, чтобы не забыли свет погасить, и ушла со своим стаканом в свою комнату.

Отец сидел напротив мальчика, облокотившись локтями о стол, и внимательно следил, как мальчик ест.

— Сет, — сказал он, — я бы хотел... — Он хотел сказать: «Поговорить, как мужчина с женщиной», но вспомнил, что это просто выдержка из его разговора с женой. — Сет, мы с тобой...

Мальчик вспомнил весь день, вечер, Армена. Он серьезный парень, Армен, и мотороллер он себе непременно купит и кинозвездой сделается; но вообще-то и в нем и в остальных мальчишках нового квартала есть много непонятного. Про толстого Сергея Армен говорит: «Он добрый, жизнерадостный парень». Наверное, так оно и есть, и он, Сет, наверное, скоро и сам так будет думать.

— Мама тоже заметила, — говорит отец, — ты стал замкнутым в последнее время... замкнутым и молчаливым. Послушай, Сет...

— Па, — говорит мальчик, — купи мне ракетку для пинг-понга.

— Куплю, — отвечает отец и продолжает: — Что-то с тобой происходит, сколько дней я ломаю себе голову...

Мальчик был уверен: он еще научится как следует играть в пинг-понг и обыграет этого Сергея — еще как обыграет, у него будет самая лучшая коллекция карточек кинозвезд, и деньги он тоже накопит, как Армен. Он купит себе мотороллер и полетит-помчится по улицам нового квартала — до заманчивых незнакомых далей, туда, куда асфальтовые дороги ведут...

— Здесь нет посторонних, Сет, — говорит отец, — ты можешь спокойно...

— Па, — говорит мальчик, — ты не дашь мне завтра рубль?

— Дам, конечно, — отвечает отец. — А на что тебе?

— Я тут одному парню задолжал, — говорит мальчик, — и потом мы завтра снова в кафе собираемся.

Отец придвинул к себе стакан с чаем и сахарницу и крикнул:

— Сирануш, иди с нами пить чай! Иди к нам!

ПРОКЛЯТЫЙ ДОЖДЬ

Два дня подряд дождь молотил по земляным кровлям старого двора, сыпал на железные, выкрашенные в красный цвет крыши, два дня подряд с них неслись потоки воды — вода хлестала из водосточных труб, стекала по стенам. Жители двора, скрючившись под зонтиками, завернувшись в плащи, сжавшись, перебирали в цепкой, приставучей грязи ботинками и галошами, прыгали с камня на камень, с кирпича на кирпич, перемахивали через лужи. Даже такой ливень бессилен был удержать людей дома. Людям все равно нужно было куда-то идти, какие-то поддерживать связи с внешним миром, потому что у людей существовали какие-то заботы, и даже когда на дворе в тепловатом воздухе вот уже второй день носился дождь, даже тогда люди не могли заключить себя среди четырех стен.

Егиазар давно уже покончил почти что все счета с этим простирающимся вдаль миром — единственной связью с ним были те тридцать пять рублей пятьдесят копеек, которые каждый месяц приносил Егиазару высоченный, худой, в синей форме молодой почтальон. Заботы Егиазара уменьшились и не шли дальше его четырех стен. Во всяком случае, дальше этого двора.

Дождь колошматил по земляным и железным крышам, рвался из водосточных труб, скапливался под стенами, приплясывал в лужах.

Квартирант одной из комнат в верхнем этаже противоположного дома студент Армен быстро пересек двор, торопливо взбежал по длинной каменной лестнице, у подножья которой подрагивал под дождем куст дикой ромашки. Студент Армен поднялся на балкон, потопал ногами, отвел руку с мокрым плащом и, взглянув на свои новые ботинки, недовольно пробормотал:

— Проклятый дождь...

Живущий в самом дальнем конце двора мастер Мукуч толкнул калитку, боком протиснулся сквозь нее; в руках у него был тяжелый ящик с инструментом. Мастер Мукуч оставил калитку открытой и с ящиком через руку пошел прямо по лужам в своих зашнурованных, со сбитыми носами штиблетах. Вода каплями скатывалась с широкого козырька фуражки, рубашка прилипла к тощим плечам, он шел, опустив голову, и что-то недовольно бормотал, наверное:

— Проклятый дождь...

Проклятый дождь бил по жидкой, крытой толем крыше пенсионера Егиазара, с крыши сплошной завесой обрушивался вниз и там, внизу, образовывал в земле небольшие воронки вдоль стен. В солнечные дни Егиазар, сидя перед крыльцом на низенькой табуреточке, имел привычку неподвижным, застывшим взглядом глядеть на отмытые дождем, поблескивающие осколочки стекол и цветной мелкий щебень на дне воронок.

Сейчас он глядел в окно. Окно было мутное, за ним неясно было видать, и Егиазар подумал: «Надо почистить стекло». Потом он подумал: «Жесть надо убрать в сухое место».

Нарезанные листы жести были прислонены снаружи к стене дома, вода с крыши обрушивалась прямо на эти листы.

«Потому и поржавели так скоро», — подумал Егиазар. Он вспомнил, что заплатил за них рубль двадцать. «И меньше можно было дать, но мастер Мукуч не умеет торговаться — для него рубль двадцать — четвертинка... а так бы я выторговал... а мне эти листы... ну да, когда-нибудь пригодятся, на свете ничего нет лишнего, все когда-нибудь делается нужным...» Он сказал себе:

— В сухое место надо спрятать.

Шум дождя усилился, грязные дождевые брызги допрыгнули до окна.

— Переставить надо, — повторил он и потер руками по карманам, по подолу рубахи. Струи, пузырясь, стекали по листам. — Надо прямо сейчас убрать их оттуда.

Он отошел от окна, открыл дверь, холодная дождевая пыль посыпалась на его лицо, он поежился: «Одежду промочу», — подумал и прикрыл наполовину дверь.

— Одежду промочу, — сказал он вслух, закрыл дверь, постоял немного за дверью, прислушиваясь, не зная, что делать. Потом в сомнении снова подошел к окну, медленно приблизил лицо к стеклу.

Дверь у соседей в эту минуту заскрипела, в дверях показалось не то женское, не то мужское лицо, лицо поглядело вверх на небо, потом глянуло вниз,

под ноги, видимо ища, куда ступить. Егиазар узнал своего соседа Ерема. «Промочит одежду», — подумал. Дверь заскрипела опять, еще немного открылась. Ерем с накинутым на голову пальто вышел. Изнутри женская рука протянула ему веник. Ерем веник принял, стал, широко расставив обутые в галоши ноги, и поглядел вверх на свою крышу. «Протекает, — подумал Егиазар. — Сейчас он что-нибудь придумает, чтобы не капало... Мне бы тоже выйти и убрать мою жесть в другое место... Одежда промокнет». И ему казалось в эту минуту, что одежду бывшего продавца Ерема дождь не трогает. «Они хитрые, они умеют жить», — подумал он.

Ерем поковырял лопатой перед своим крыльцом, подмел там веником, потом отошел и, двумя руками поддерживая пальто над головой, снова посмотрел на свою крышу. «Еще что-то будет делать, — подумал Егиазар. — Думает, что бы такое еще сделать». Ему казалось: Ерем сколько бы ни стоял под дождем — ему ничего не сделается. «Я так не могу. Я как выйду, меня до ниточки промочит, а этот сейчас что-нибудь придумает. Чтобы крыша не протекала. И не будет протекать». Он вспомнил про свои листы и подумал, что все равно этот Ерем не заметит, что добро Егиазара под дождем стоит и ржавеет. «Не заметит...» Ему грустно сделалось. «Никому нет дела до меня, хороших соседей на земле не осталось».

Ерем оглядывался — Егиазару даже показалось, что тот что-то увидел — листы его? Вряд ли. Но Ерем смотрел именно туда, где стояли прислоненные к стене листы кровельного железа.

— Промокли, — громко сказал Егиазар, и ему

показалось, Ерем слышит его. «Я сам не попросил бы у него такой услуги, я никогда не ждал от соседей помощи, я не из тех, но...» Так он думал и вдруг сказал вслух, то ли себе, то ли стоящему под дождем Ерему:

— Рупь двадцать отдал, жалко...

Ерем как будто понял его, потому что подошел к листам.

«Ага, — сказал Егиазар. — Он может их поставить поудобнее, чтоб дождь не доставал, или же пусть в дом внесет...»

Ерем подошел, остановился возле листов; он заметил за мутным, в дождевых каплях стеклом зыбкие очертания Егиазара. В этом не было ничего смешного, но Ерем улыбнулся ему — это сейчас было просто необходимо.

— Возьму? — крикнул он, продолжая улыбаться, уверенный, что зыбкий продолговатый силуэт за окном не поймет его.

— Да, да, эти, целый рубль, куда-нибудь посуше, туда вон можно, в ту сторону, под навес, — Егиазар пальцем показывал: целый рубль, рубль один, потом снова показал — туда, туда...

Кругом шумно хлестал дождь. Ерем не мог слышать Егиазара, но быстро догадался, что ему разрешается взять один лист себе. «Старик добрый сегодня, ну да, тоже ведь человек, понимает, каково другому», — думал он.

— Один только и нужен, спасибо, один, — он повертел перед окном указательным пальцем — один.

— Да, да, минутное дело, в одну минуту управисься...

Ерем склонился над листьями. «Чем я ему отплату только», — думал Егиазар. Он вдруг пригорюнился. «Ерем никогда не был мне плохим соседом, столько времени о бок живем, зла от него я не видел...» Ерем вопросительно поглядел снизу.

— Беру, значит, — крикнул он громко, вспомнив, что старик туговат на ухо.

— Неси, — сделал рукой Егиазар, — пристрой где-нибудь, а хочешь, в дом внеси, — он показал рукой на свою дверь.

— Зайду, зайду, посидим, поговорим, — и Ерем почувствовал, как одинок старик. И подумал, что надо к нему наведываться изредка — этот проклятый дождь...

Ерем отставил в сторону первый лист, весь ржавый и дырявый от ржавчины, ни на что не годный, отложил второй, третий...

— Все, все! — крикнул, высовываясь в дверь, Егиазар.

— Спасибо, одного достаточно, — он снова показал пальцем: одного достаточно, и снова стал перебирать листы, нашел, наконец, сравнительно чистый, вытащил его и поволок по земле к своему дому. Егиазар все мгновенно понял, недаром он прожил целую жизнь, недаром так хорошо знал людей.

— Эй, куда ты?! — закричал он.

Ерем показал рукой на свою крышу, но Егиазар и так уже все прекрасно знал. Он все-все знал.

— Мое железо! — закричал он. Он еле удержался, чтобы не упасть, потому что зацепился за порог.

Он добежал до Ерема, схватился за лист — дождь хлестал по листу, по Егиазару, Ерему, но

к чертям уже был дождь, тут главное было железо и то, что Егиазар понял все как есть.

— Куда... куда несешь? — кричал он, забыв про то, что они с Еремом старые и невраждующие соседи, готовый оскорбить его самыми грубыми, самыми обидными словами. Но он задышался — это не давало ему говорить. Он ловил ртом воздух и повторял: — Куда... куда...

— Крышу... дождь... протекает... положу... вот так... — Ерем одной рукой показывал на свою протекающую крышу, показывал, как он закроет в ней брешь, другой рукой крепко держался за лист железа.

И вот это-то и показалось Егиазару верхом бесстыдства, это показалось ему таким неслыханным нахальством; что он не смог больше выговорить ни слова, он только потянул к себе лист, сильно — со всей силой, которая была в его высохших, тощих руках. Лицо его от возмущения вытянулось и стало таким, каким оно виделось Ерему за мутным стеклом.

— Положу... вот так... — пытался объяснить Ерем.

Егиазар его не слышал, дождь уже промочил их обоих до нитки, он барабанил по листу железа, тонкое железо прогибалось и отзывалось: «черт... черт... черт».

— Это что это вы делаете? — под дождем возникла еще одна личность — личность оказалась сторожем продовольственного магазина Месропом. Братец Месроп был постоянный собеседник Егиазара. Более чем кто-либо понимал братец Месроп пенионера Егиазара.

— Несет, не спросившись... а я целый рубль заплатил... и еще... — Егиазар был уверен, что Месроп его поймет, поймет быстро, с полуслова, как это и нужно под таким проклятым сумасшедшим дождем. Он провел рукой по плечу Месропа, желая сказать, что дождь. И Месроп сейчас же, прежде чем Егиазар произнес бы еще слово, все понял. Он вообще все прекрасно понимал и знал, что в жизни может случаться и происходить.

— Вы что делаете?! — сказал он, и Ерем выпустил из рук край листа.

Волосы у Ерема были мокрые и прилипли ко лбу, и так как волос было не очень много, то прилипли они ко лбу с одной стороны, слева, вода с них капала ему на левый глаз.

— Отдам ведь, не понимаете ничего... верну же... — говорил он.

«Нет, ты видишь, какой бессовестный, какой бесстыжий человек... вот они какие, люди... Вот он какой, этот мир...» — всего этого Егиазар не произносил, но его рассерженный и удивленный взгляд, его огорченно вскинутая на длинной шее голова жаловались Месропу. Единственному человеку в старом дворе, да и во всем мире единственному человеку, понимающему его. Егиазар был уверен, что Месроп понимает его. «Нет, ты видишь, ты видишь, какой он...»

— Пусть возьмет. Отдай ему, — сказал Месроп.

Егиазар услышал, как Месроп сказал это. Ерему, конечно...

— Отдай ему.

Егиазар вздрогнул, выпустил из рук лист, вернее — лист сам выскользнул из его рук. Его длин-

ный рост вдруг сделался меньше, бледное лицо на длинной шее подалось вперед, и маленькие глаза в ужасном недоумении уставились на лоб сторожа продовольственного магазина Месропа.

— Значит... — Он еле двигал губами и еле выговорил это слово, которое означало: значит, он, Месроп, не понял его, значит, сам он неверно понимал до сих пор Месропа, и значит, и он, и значит, и он...

— Он вернет тебе, отдаст обратно...

— Значит... — в голосе была угроза. — Тьфу!..

И старый Егиазар плюнул, плюнул на все хорошее, во что когда-либо верил, и на все, во что хоть в малейшей мере верил сейчас. Он нагнулся, поднял кусок кровельного железа и, не оглянувшись, ссутулившись, поволок его за собой. А два соседа, оставшись под дождем, посмотрели друг на друга, и, так как дождь продолжал бить их по плечам и они спешили, поглядели очень коротко. «Не думай, что я со всеми так», — заверял один взгляд. «Был бы у меня хоть один такой лист, я бы сам принес тебе», — заверял другой взгляд. И потому, что делить им было нечего, и потому, что это было ясно им обоим, они расстались друзьями. Дождь не переставал, но шел уже мелкий, почти моросил, делая все кругом сырым и мокрым.

Следующим вечером старый Егиазар умер. У него всегда было повышенное давление. Его без сознания принесли из ближайшего продовольственного магазина, куда он каждое утро направлялся с авоськой и пустой молочной бутылкой в руках.

Дождь кончился на четвертую ночь только. Утром с мокрых жестяных кровель двора посыпа-

лись последние капли, в синем небе за удивительной белизны облаками сверкнуло солнце, лучи его скользнули по лужам, и старый двор снова наполнился ярким светом и приятной теплотой. Распахнулись двери в домах, мужчины лопатами прорыли перед дверями маленькие канавки, женщины вывели застоявшуюся воду, погнавши по этим канавкам, и старый двор разом ожил, повеселел. Под анфиладой продолговатых южных балконов, на солнечной стороне расселись старики, расстелили на камнях паласы — камни еще были холодные, не успели прогреться, холод проходил даже через пальто — и расселись.

— И этой весной раскрылись наши двери, — сказал Месроп, расправляя полу отсыревшего в комнате пальто.

Только одна дверь не раскрывалась, и Месроп сказал:

— Блаженной памяти, хороший был человек.

— Да, мастер Мукуч, вспомнил, — сказал Ерем, — ты о каких-то бревнах вроде говорил. Что за бревна?

Ерем знал отлично, что за бревна, и знал, что мастер Мукуч спустил их с крыши дровяника и сложил возле стены за домом. И проволокой еще обвязал, чтобы не стало их меньше: пять штук было бревен. Ерем это тоже знал. Но Ерем все-таки спросил, чтобы мастер Мукуч ответил:

— Те, что за домом, пойдн посмотри.

И чтобы сам он потом протянул:

— Ах, эти-и-и... два коротких, два кривых...

— Ничего не кривые, одно только...

— Ладно, ладно, — оборвал его, не соглашаясь, Ерем, — каждый свой товар хвалит, известное дело. Ты скажи лучше, сколько просишь.

И мастер Мукуч сказал прямо, сразу, словно так он и подразумевалось:

— Два с полтиной.

И Ерем сделал вид, будто ослышался, хотя тот произнес цену внятно и громко.

— Сколько, сколько?.. Два с полтиной?..

— Да.

— Два с полтиной... Да я недавно у возчика Сурена не то что пять — двенадцать бревен купил, да каких прямых, здоровых, вон у стены лежат. Сколько, думаешь, я ему дал, скажи, сколько, чтоб и ему не было обидно и мне чтоб по чести...

— Чтоб по чьей чести?..

— Ну, угадай, угадай...

— Сам скажи.

— Рубль пятьдесят!

— Надул. Надул человека. А он и не понял. Не понял человек. Тогда бы ему было обидно... Я не возчик Сурен.

Красильщик Минас слушал их торг и думал: «На что ему эти бревна, крышу ему ремонтная контора в прошлом году перекрыла даром, на что же теперь бревна?»

— Слушай, парень, на что тебе бревна? Сказал бы нам, — спросил он вслух.

Ерем не задавал себе этого вопроса и теперь немного смешался — в самом деле, на что они ему, что он с ними будет делать; правда, бревна неплохие, правда, у возницы Сурена он купил не двенадцать, а шесть, и заплатил за них не рубль с пол-

тиной, а три пятьдесят, так что эти пять, несомненно, были дешевле, но и только, и все.

— Слушай, — он не сказал, что это очень хорошие и очень дешевые бревна, — слушай, бревно ведь — боишься, не пригодится...

— Нет, ты скажи, скажи, на что тебе они, продавать будешь потом дороже, да?

— Нет, — сказал Ерем и сам себе поверил, что сказал правду, и загордился на минуту.

— А на что тебе, на что берешь, дома не сегодня-завтра снесут, в новом доме квартиру дадут, куда тебе бревна?..

Ерем чувствовал, что так не нужно думать, он и не хотел думать; мало ли на что можно употребить крепкие, здоровые бревна. Он чувствовал, что это прекрасные бревна, и просят за них дешево. И он сердился, что его заставляют думать о чем не надо и ответ еще держать.

— Совсем заморочил мне голову: «на что», «на что»; сложу вон возле стены, на что-нибудь пригодятся.

— Пригодятся! Палаты будешь возводить или балок в крыше не хватает?

— Э!..

— Вот тебе и «э», не нравится, когда спрашивают. Покойный Егiazар, дай бог ему светлой жизни там, тоже посмотрел, что дешево, — купил у этого вот Мукуча железо, сложил у стены — да ты руку к голове поднять не можешь, куда тебе, спрашивается, железо.

Сторож ближайшего продовольственного магазина Месроп перестал перебирать бусины крупных чек, поднял голову.

— А в тот день еще этот человек просил у него один лист: дай, говорит, крышу покрою, капает — рассердился, не дал... двух дней не протянул после...

— Братец Месроп, — Ерем поднял руку, возражая, — не имеешь права... Бедный, несчастный человек, откуда ему было знать, что умрет через день — знал бы, отдал бы, я уверен, отдал бы, уверен, не пожалел бы...

И потому что братец Месроп снова вернулся к своим четкам с крупными, большими бусинами, Ерем опустил руку на колено.

— Мастер Мукуч, сколько, значит, с меня за бревна — рушь двадцать, говоришь? По рукам?

ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ ЖИВУТ

Какой-то старый жилец, может, назло обладателю противоположного окна, а может, наоборот, заручившись его согласием, возвел свою стену прямо против стены соседа, в нескольких метрах. И окно свое расположил прямо напротив его окна. Потом жильцы сменились — сначала один, потом другой, и теперь друг против друга живут семья токаря Мукуча и семья Бездельника Енока. Длинного Енока. Может, такое тесное соседство и не по душе им, но с этим никто не считается. И те, кто до этого тут жил, тоже не посчитались. Так оно и бывает. Не посчитались они и с тем обстоятельством, что, несмотря на четыре слоя стекла и белые занавески на окнах, семьи эти постоянно в курсе всех событий, происходящих друг у друга.

Разве могли предположить те, кто до этого тут жил, что у обоих семейств, поселившихся за противоположными окнами, не окажется детей, которые играли бы на узкой полосе зелени между двумя стенами? Они бы играли между собой, ссорились, вовлекали бы взрослых в свои ссоры. Можно было чистой случайностью считать то обстоятельство, что оба семейства насчитывали в своем составе по мужу и его половине. Правда, ежели углубиться, все-таки можно было объяснение соответствующее найти.

Особенно если принимать во внимание все, о чем говорилось среди женского сословия старого двора. Во всяком случае, мастер Мукуч был горький, всем известный пьяница, а про Бездельника Енока женщины и не то еще говорили и слово «бездельник» произносили с особым ударением.

Постоянной причиной ссор между женщинами этих семейств — и надо сказать, обе женщины проявляли в этих перепалках поразительную находчивость и смекалку — были огрызок яблока, арбузная корка, кусок старого промасленного фитиля — словом, всякий мусор, который выбрасывался время от времени из того или другого окна на зеленый узкий лужок между окнами. Споры такие чаще всего возникали после обеда и к вечеру завершались походом одной соседки к другой за солью или за ситом. Мужья их, если только мастер Мукуч не был пьян, взяв по низенькому стульчику каждый, выходили на то самое зеленое пространство, садились каждый под своим окном — друг против друга то есть — перекинуться словом, партию в нарды сыграть. И никакие арбузные корки и промасленные лоскутки не мешали им и их дружбе в эти минуты.

Но и не эти проявления добрососедства были решающими и определяющими в их взаимоотношениях. Самое главное оставалось невысказанным, неосознанным даже и никогда не служило темой для разговоров. Самое главное существовало, присутствие его всегда ощущалось, оно именно и предопределяло дальнейший ход событий. Это главное не оставляло их равнодушными ни на минуту, будоражило их, беспокоило, потому что, если выразить

это словами, главное — был вопрос собственного образа жизни в сравнении с образом жизни соседа.

Человек всегда сравнивает себя с другим, всегда склонен переоценить себя, увидеть больший смысл в собственной жизни, утешить себя, когда надо, и с сомнением поглядывать на ближнего. С сомнением и тревогой: а вдруг там все правильнее?

Не часто бывает, чтобы люди делались очевидцами чужой жизни, чужого быта, да какими близкими — непосредственными очевидцами: гляди прямо в окна самые.

Даже занавески на окнах, несмотря на кажущееся свое благообразие, были исполнены друг к другу какого-то пренебрежения и имели весьма самодовольный вид. Но занавески существовали больше для того, чтобы, оставаясь за ними невидимыми, можно было подслушивать.

— Начался концерт, — припав к занавеске, победно возвещает Санам; она говорит это так, чтобы Енок, устроившийся во дворе на тахте, с очками на носу, услышал ее, но чтобы за соседним окном не слышали, — концерт начался, — говорит она.

Енок перелистывает страницы книги и чувствует, что жена что-то сказала, он поднимает от книги голову, смотрит на жену вопросительно, потом снова углубляется в чтение.

— Э... что ты понимаешь... — недовольно ворчит жена и, не выдержав, отводит занавеску — в окне напротив явный переполох.

Арус, могучая женщина, одним пинком швыряет мужа на постель и, встав над ним с веником в руке, кричит:

— Говори... говори... говори, что не будешь больше пить, не будешь пить!..

Мастер Мукуч, наконец, понимает, чего от него хотят.

— Что не буду больше пить, — повторяет он, и жена отпускает его наконец. И делает пятерней проклинающий жест — чтоб тебя не стало!

Потом подходит, стаскивает с мужа грязные штiblеты, брюки, рубаху, смотрит, какое все это грязное, и снова рукой: чтоб тебя... и думает, что утром пораньше надо встать, привести в порядок все, чтобы не опоздал на работу. Мастер Мукуч лежит, закрыв глаза, на боку. Водочный перегар доходит до жены, и, разъяренная, она собирается снова разораться.

И вдруг — вдруг вид мужа, съежившегося, в одном исподнем, трогает ее.

— Помилуй... — ужасается она собственной жестокости и, натянув на него простыню, идет к своей постели.

Свет в комнате погас, и только громкий храп мастера Мукуча смущал noctную тишину. Жена привычная была, храп ей спать не мешал.

— Угломонились... — Санам смотрит на своего супруга, который сидит на тахте, протянув по всей ее длине ноги.

Енок поворачивается к ней, смотрит поверх очков:

— А?

— Говорю, угломонились уже...

— Грубые, невежественные люди. Не понимаю, для чего на свете живут.

Енок зевнул, потянулся, закрыл книгу.

— Больше двенадцати уже... да-а-а... эта история полководца Вардана...

— Не хочу слушать, — отмахнулась жена, и Енок не рассказал ей историю полководца Вардана.

Утром Арус, провожая мужа на работу, пригрозила:

— Не забудь, обещался вчера...

И мастер Мукуч вспомнил: «Что не буду пить больше».

«Не буду пить, не буду пить», — повторял он, как бы отсчитывая шаг, и повторил так раз триста, потому что примерно столько было до ближайшей трамвайной остановки, шагов триста.

Трамвай. Он похож на гигантскую красную гусеницу, ползущую по стальным рельсам, которая, набирая дыхание на остановках, поглощает и выплевывает людей. Трамвай в этом городе принимает и выпускает людей с обеих сторон. По утрам трамвай набит бывает до отказа. Часто приходится дожидаться следующего, чтобы протиснуться кое-как с инструментами.

Люди на задней площадке недовольно бурчат:

— Это еще что за порядки...

Мастеру Мукучу все равно, что они говорят.

Одна остановка, другая, третья. На четвертой мастер Мукуч сошел — толкнул кого-то, спрыгнул, поддерживая ящик с инструментом.

Раньше здесь кузницы стояли, целым рядом, так и называлось место — Кузницы. Теперь тут проспект, по центру его протянулись рельсы, они ведут туда, где в воздухе стоит запах резины и дыма из труб. Напротив крытый рынок находится, каменные пятиэтажные дома стоят, магазины. Шос-

се, выходящее на проспект, идет оттуда, где после дождика влажно пахнет землей, вливается в проспект, разветвляется по всему городу.

Вон они, у того перекрестка стоят.

В летние жаркие дни они собираются возле фонтанчиков, в широкой тени деревьев, зимой руки в карманах, бьют ногами по утрамбованному, крепкому снегу и ждут. Их привела сюда одна из переkreцивающих дорог — утром рано, когда трамвай развозил только что вставших от сна людей, каждого на свое место, по всему городу. И кажется, эти не нашли своего места или же сели по ошибке не в тот трамвай, потом высадились и остались тут, на этом перекрестке.

Те, у которых по утрам бывает желание перекинуться словом, стоят, сбившись в кучку. Те, которым надоела пустая болтовня, стоят отдельно, смотрят на женщину, которая больше поднимает пыли своей метлой, чем подметает, на народ, высаживающийся и садящийся в трамвай. Им давно уже наскучило пустопорожнее их зубоскальство, они молчат.

У стены, широко расставив ноги в солдатских ботинках, в полинявшей гимнастерке стоит парень и кричит так, чтобы все слышали: «Невесты рот...» — и складывает губки бантиком — маленький у невесты рот, потом кричит: «Волчья пасть...» — и разевает рот и рукой показывает — большая у волка пасть. «Мастера Мукуча рот...» — кричит он, и все кругом оживляются: «А-ха-ха-ха...»

Рядом с парнем, облокотившись о стену, дремлет кто-то, лица его не видно, кепка натянута на глаза,

пол-лица закрывает, только губы его бросаются в глаза на смуглом лице — синеватые какие-то и толстые.

— Вот так замок...

Парень с синими губами поднял голову, взглянул, глаза у него большие сразу сделались: мастеровые, окружившие было какого-то человека с замком в руках, расходятся, человек остается стоять с замком в руках, растерянно озирается кругом.

— Что же это среди вас мастера одного нету?

Мастеровые переглядываются.

— Мастер-то есть, да, вот видишь, товарищ, дело какое тонкое, полмиллиметра не так пошел — вещь загублена...

— Ответственная работка...

— Сложный замок, Ако? — спрашивает синегубый у товарища, а глаза у него снова закрываются почти.

— Восьмирублевый, — говорит Ако.

Глаза у синегубого совсем закрываются, кепка сползает на нос, и опять не видно его лица.

Человек с замком оторопело оглядывается.

— Мастер Мукуч сделает...

— Ну да, сделает...

— Точно...

Мастер Мукуч взял в руки замок, повертел его, потрогал никелированную часть, поглядел в отверстие для ключа и после этого окинул всех многозначительным взглядом:

— Гм...

— Не поднять, — сказал кто-то.

— Давай на спор, мастер Мукуч, — сказал он же, — не сможешь.

— Давай, мастер Мукуч, — поддержали остальные, — иди на спор.

Любопытствующих стало больше, толпа большая собралась:

— Что там, в чем дело?..

Владелец замка совсем растерялся, смотрит то на одного, то на другого говорящего, ничего не понимает.

— Кто не верит? — говорит мастер Мукуч, и в центр круга выходит лысый, небольшого роста, большоголовый мастеровой.

— Не осилишь.

— Иди на спор, мастер Мукуч! — кричит синегубый.

Все кричат:

— На спор, мастер Мукуч, на спор...

— Пол-литра...

— Идет, — лысый хлопает его по руке.

— Литр...

— Литр... — лысый снова хлопает его по руке.

— Два литра и все что полагается...

— Два... — И высокий голос лысого мастерового теряется в поднявшемся шуме.

— Вот это спор... спор так спор...

И все расходятся снова и долго еще восхищенно качают головами.

Солнце мало-помалу поднимается, загоняет всех под деревья. Время от времени кто-нибудь из них выходит из тени, чтобы походить, поболтаться поблизости в поисках работы, потом, поторговавшись, сойтись в цене с заказчиком и отправиться с ним, поработать.

Далеко за полдень уже было, когда откуда-то,

выполнив очередной заказ, объявился лысый мастеровой. Все сразу вспомнили про мастера Мукуча.

— Не приходил еще? Я говорил, не его это дело... — Лысый поджал губы, поглядел на товарщицей.

— Мастер Арам, рюмочку пожертвуешь мне?..

— Пить будем, мастер Арам, дай бог тебе здоровья...

Парень в гимнастерке начал свое: «Невесты рот...», «Волчья пасть...», и, когда он собирался сказать «Мастера Мукуча рот...», показался с заказчиком мастер Мукуч.

— Мастер, да какой мастер! Я сначала не очень себе представлял... — И заказчик при всех отсчитал, заплатил мастеру Мукучу за работу. — Что поделаешь, — посочувствовал он мастеру Араму. И удалился.

Синегубый поднял на секунду голову, открыл глаза, чтобы тут же закрыть снова.

— Что... мастер Мукуч потянул?..

Никто не обратил на него внимания, кепка сползла ему на нос, закрыла лицо.

До рынка было рукой подать.

Мастер Мукуч и не заметил, как они пришли сюда. Он помнил только, что это была та самая знаменитая шашлычная, где первоклассный кебаб готовили. Он помнил стол с порциями кебаба, порции все прибывали, в стаканах не убывала бесцветная, невинная на вид жидкость. Дальше все было в тумане — он обнимал и целовал чью-то огромную лысую башку, кто-то его самого обнимал, что-то он говорил, как ему казалось, хорошее, чего не следовало ему стыдиться, он это понимал, потом он один

был и уговаривал себя, что не стоит обижаться на тех, кто его одного бросил, что так и должно было быть...

Но чего-то не доставало.

«Тай-яй-яй, тай-тай...»

Голова его упала на грудь, самого его бросало по сторонам, он волочил за собой ящик с инструментом и, чтобы прохожие не сторонились его, чтобы не мешать им, с трудом вскидывал время от времени отяжелевшую голову, старался идти прямо, не касаясь прохожих, — тут-то его и бросало из стороны в сторону.

«Тай-тай, тай-там... там-там...»

Все было на месте, одного только в этой песенке не хватало — того, что должно было быть вместо этих «тай-там, там-там...». Он попробовал было вспомнить и удивился, что не может.

— Вэ!..

От шагов голова, казалось, сотрясалась — это мешало сосредоточиться. Он даже остановился на секунду, чтобы не упасть, потому что это, он понимал, было бы стыдно. Он постоял так немного, упираясь ногами в землю, удерживая равновесие.

— Тай-там, тай-там, — забормотал он и вдруг вспомнил недостающие слова: «Не буду пить... не буду пить...»

Прямо на пороге дома его огрели по лбу веником, схватили его за ворот, втоптали в дом, дверь с шумом захлопнулась. Мастер Мукуч совершил свое обычное вхождение в дом. С неукоснительной точностью.

— Явился... — Санам осторожно отвела край занавески.

Енок сидел на тахте; он еще больше вытянул ноги, поправил на носу очки и совсем ушел в книгу.

— Явился, пьянчужка, сейчас начнется война, — повторила Санам громче.

И так как ее голос все равно не дал бы покою и мешал бы до тех пор, пока Енок не отозвался бы, Енок повернул лицо к окну:

— А?

— Говорю, пришел пьянчужка, сейчас все начнется...

— Да. Грубые, невежественные люди.

И, не взглянув на жену, Енок отвернул лицо.

За противоположным окном Арус, швырнув супруга на ковер, молотила по его спине веником:

— Сколько можно... сколько можно... так...

Мастер Мукуч был согласен, нельзя было больше так...

— Оскандалил меня, опозорил... все смеются... Вон и у Санам муж... Еноку в подметки не годишься...

Это уже было слишком, с этим мастер Мукуч никак не мог согласиться. Все, что угодно, только не такое...

— погоди!.. — заорал он. — Ты что это, меня с Бездельником Еноком равнять?.. Да ты что... Значит, я и Енок одно и то же?.. Да я того, кто его мужчиной назовет, Енока этого... И зачем только он на свете живет?..

Арус, наконец, выяснила для себя, что ничего особенного в сегодняшней выпивке не было, и она с жаром потребовала от супруга:

— Скажи... скажи, что не будешь больше пить... говори же...

Наконец все у них стихло, свет в окне погас.

Санам оставила занавеску.

— Утихомирились, — и, чтобы муж услышал ее, повторила громче: — Угомонились. Можно передохнуть немного от их голосов.

Енок закрыл книгу, поднял лицо.

— А? Да. Невоспитанные люди... — и, решив, что достаточно по этому поводу сказал, продолжал: — В год великой битвы Вардан... — он заговорил о том, что было, на его взгляд, важнее всего.

Но жена оборвала его:

— Ладно, ладно... теперь ты не начинай...

И, приблизившись к постели, вздохнула недовольно:

— Люди скажут: у Санам муж есть...

В старом дворе, когда речь заходила о живущих друг против друга семействах Бездельника Енока и мастера Мукуча, сорокадевятилетний холостяк Хачатур Есяян говорил:

— Я не понимаю, зачем такие люди на свете живут...

ВСЕ СЧАСТЬЕ

— Эта новая машинистка недурненькая и ко мне, кажется, равнодушна. В моем вкусе, правда, больше полные, но...

— Гриша, — остановила его женщина, — который раз уже говоришь! Зачем? Не надо.

За стеной или этажом выше — не понять было — слышался какой-то шум, словно мышь скреблась. На восьмом этаже новой гостиницы «Арагат» вряд ли могла быть мышь. Наверное, кто-то не спал этажом выше или в соседнем номере — не разобрать.

— Может, зажжешь свет, одну только лампочку?

— Светло же от телевизора, тебе мало? — сказала женщина.

— Ну, тогда ночник подвинь ко мне.

— Ох, ну зачем тебе, не понимаю, ну зачем?

— Мне кажется, я не давал повода для ссоры, — негромко сказал мужчина. — Ты прекрасно знаешь, для чего я прошу, и, если бы у меня доставала рука, я бы тебя не попросил.

Женщина протянула руку, придвинула ночник, только бы этот человек замолчал — ей не хотелось думать о нем. Под красноватым светом ночника блестела темная поверхность обстановки; женщина знала, какая это дорогая и дефицитная мебель:

этот человек всюду умел окружать себя блеском и роскошью, это было одним из его преимуществ, и женщина устала уже помнить и думать об этом. Здесь все было дорогое и недоступное. Она почувствовала, что он смотрит на ее руку. Наконец он прошептал:

— Убери руку под одеяло, простынешь.

Женщина убрала руку, закрыла глаза.

...Они сидели в купе друг против друга, возле окна, и смотрели друг другу в глаза; она почувствовала, что этот юноша уже хочет сказать что-то, и отвела взгляд; поезд только-только двинулся, и она подумала, что впереди еще есть время.

— Нина, поверни ко мне лицо.

Женщина открыла глаза. Свет ночника раздражал ее. Она потянула колпак ночника книзу, чтобы лицо ее оказалось в тени, и подумала, что так ему больше понравится — в синеватом свете телевизора ее лицо покажется совсем усталым.

— Я смотрю, — сказала она, — пусть картина кончится.

— Я с этим Карапетом Асатуровым работал в Каджаране, в одном орсе. Старый большевик; правда, отец у него был дашнаком...

— С каким еще Карапетом? — спросила женщина.

— Да председатель ревизионной комиссии. Старый большевик. Эти старики все как один — трудно убедить их. Ты меня не слушаешь?

— Слушаю, — сказала женщина.

— Только бы они согласились, что весь картофель погиб.

— Какой картофель?

— Двадцать четыре тысячи тонн, акт уже составлен, водой залило...

— Это много, — сказала женщина, почувствовав, что он назвал какую-то большую цифру.

— Но я вижу, тебя это не интересует.

Женщина молчала; она понимала, что надо внимательно слушать, но ей это казалось лишним, не обязательным сейчас.

— Как ты себя чувствовала в дороге? — спросил мужчина.

— Хорошо, — сказала женщина.

— Но эта личность мне не понравилась, — сказал мужчина.

— О ком ты?

— Тот, который был с тобой в купе.

— Этот парень?

— Да, тот, что был с тобой в купе.

— Но ты мне об этом сказал еще в Тбилиси, на вокзале.

— Я был прав, не так ли? — спросил мужчина.

Женщина удивлялась, что он не понимает: если между нею и тем молодым человеком и была какая-то симпатия, она никогда не скажет об этом и в обратном не станет уверять.

— Но, Гриша, послушай, для чего ты так много говоришь об этом? Я тебе тысячу раз говорила — ты сам все время обращаешь мое внимание на других и других толкаешь полюбоваться мною, зачем? Ты думаешь, мне тебя недостаточно? Не надо так больше.

Этот парень ей сказал:

— Ваш муж ревнует вас, я сразу заметил.

— Вы не понравились ему, — ответила она.

— А вам? — спросил этот парень.

И с этого, собственно, начался их разговор...

— Если бы не история с этим картофелем, я бы тебя проводил, непременно бы проводил, — сказал мужчина.

— А отложить это дело нельзя было? — спросила женщина.

Они стояли на перроне в Тбилиси, и Гриша спросил ее:

— Нина, ты не очень огорчена, что одна едешь?

— Я удивляюсь, — ответила она, — почему это тебя так беспокоит. Мне кажется, ты себя виноватым чувствуешь.

И тут она поняла свою ошибку, она поняла, что Грише просто хотелось, чтобы она пожаловалась ему, что без него едет, просто ему хотелось, чтобы она была огорчена его отсутствием.

Она тогда сказала:

— Мне кажется, ты чувствуешь себя виноватым. Конечно, ты мне этого не скажешь, не скажешь правды, но я не понимаю, зачем тебе не ехать сейчас со мной, а ехать завтра.

— Нин, понимаешь, — сказал он, — эта история с картошкой — это может стоить мне головы — и тогда я совсем никогда не смогу быть с тобой. Хорошо это будет?

— Еще вопрос, — сказала она, — вопрос еще, что это за картошка, во всяком случае, я не уверена, что вечером ты будешь сидеть дома, что бы там ни было. Думаешь, стану ревновать тебя? Нисколько, — она была уверена, что муж не верит в ее искренность в эту минуту, — я тебя ни-

когда не стану ревновать, никогда тебя не приревную...

И женщине захотелось сейчас убедить мужа в том, что тогда, на вокзале в Тбилиси, она действительно фальшивила.

— И это было действительно неотложное дело? — спросила она.

— Ну, конечно, — оживился он. — Мне надо было успеть предупредить Аршаму, что в Ереване начато расследование. Если бы я не сделал этого, могло быть худо. А Аршам приезжал на следующий день, теперь ты поняла? И билеты наши были куплены. Тебе не хотелось без меня ехать, верно?

— Но сколько можно говорить об одном? — сказала женщина. — Я поехала одна, я ничего не говорю, это не было так плохо, даже наоборот...

— Понимаешь, я хотел, чтобы ты спросила, как у меня все прошло и вообще... как я там был без тебя...

— Ты правду говоришь, — вдруг перебила его жена, — с тобой в такси только футболисты ехали?

— Только футболисты.

— А ты не дал своего телефона этой новой машинистке?

— Телефона?

— Дал, значит, — сказала женщина.

— Что в этом такого, мог бы и дать, она может звонить по служебным делам, может...

— И не по служебным, я не ревную, видишь, ты больше меня волнуешься. А я тебя несколько не ревную.

И она, искренне, от всей души желая ему добра, совсем чистосердечно пожелала, чтобы вчера вечером и всю ночь в их квартире с ним была бы какая-нибудь женщина, чтобы он не был один и не думал бы об этом картофеле. И непонятно только, почему все это казалось ей невозможным.

И это не первый раз она так думала — она подумала об этом еще вчера, в купе. Она сидела, от-вернувшись, но знала, что парень смотрит на нее, она натягивала на колени подол и знала, что все равно, сколько ни тяни подол, колени все равно открыты.

— Вы так порвете себе платье, порвете, — сказал парень.

И она не смогла сдержать улыбку.

— Я удивляюсь армянским женщинам, — сказал этот парень, — юбки носят короткие, но стоит кому-нибудь невольно, клянусь, невольно, бессознательно взглянуть, не взглянуть даже, сделать движение — тут же демонстративно начинают кутать колени в подол, я не о данном случае, я вообще, оскорбительно даже, у тебя и в мыслях ничего нет, а они...

И в эту-то минуту ей и захотелось, чтобы муж был в квартире не один.

Ей стало жалко его.

— Что ты ел вчера? — спросила она. — Я на кухне оставила тебе жаркое, и кофе был холодный в кофейнике, надо было только подогреть.

— Я не трогал, — сказал мужчина. — Я увидел, что ты все это приготовила для меня, и знаешь, я поцеловал твою карточку. А ужинал я с

этим Аршамом и одним его знакомым... в «Казбеке»...

— Гриша, признайся, что ужинал с машинисткой или еще с кем-нибудь, с какой-нибудь женщиной, все равно; скажи мне, я не ревную, просто я хочу все знать и быть спокойна.

— Хочешь, чтобы я неправду сказал?

Женщина хотела, чтобы это была правда.

— Нет, — попросила она, — неправду не надо, скажи правду, что ужинал с какой-нибудь женщиной.

И она видела, что муж в эту минуту чувствует себя счастливым.

— Нина, что ты за женщина, что за женщина...

Но женщине не хотелось вызывать у него иллюзии, и она сказала:

— Просто я не старалась бы, если бы знала, мне моего труда жалко, я бы не стала готовить...

— Аршам надеется на этого Асатурова. Если все хорошо пойдет, надо будет и ему куш выделить.

О чем это он говорил так скучно, все об одном всегда — какой-то Аршам, какой-то Асатуров, она их не знает и не узнает, все время одно и то же, неинтересное, надоевшее, скорее всего это каждый раз разные люди и разные дела, но всегда дела, всегда дела беспокоили, волновали, тревожили этого человека.

— Это не ахти какая сумма — восемь с половиной миллионов, для государства пустяки, но попробуй на такую сумму овощей вырастить; пред-

ставляешь, сколько мороки, потому они и комиссию направили... Это дело представляет особый интерес...

— Для кого?

— Для комиссии.

— Хватит, Гриша, ты не можешь о чем-нибудь поинтереснее...

— Я знаю, тебя все это не интересует, и это самое обидное, самое...

— Дело не в том, Гриша...

— Дело в том, — сказал мужчина, — и ты да же не поймешь, о чем я, я же знаю тебя, ты не поймешь.

Женщина не ответила: если бы она ответила, он еще бы что-нибудь сказал, она бы опять ответила — конца этому не видать было. И кроме того, этот разговор ничего не давал и не был нужен ни одному из них. В поезде Нина с тем парнем ни о чем серьезном не говорила и не спорила.

— Нина, ты спишь уже?

Женщина раскрыла глаза: мужчина, она это чувствовала, думал, по-видимому, чем бы еще заинтересовать ее.

— Занятный народ эти футболисты, — сказал он, — искренний. Не соскучишься с ними, я и не заметил, как мы доехали. Завтра у них здесь игра. Если «Спартак» выиграет, он останется на четырнадцатом месте, а если проиграет...

— На четырнадцатом или тринадцатом? — спросила женщина.

И она удивилась про себя тому, что он не хочет произносить число тринадцать. Или он действительно перепутал?

— А ты откуда знаешь, что тринадцатое? — сказал мужчина.

— Мне показалось, я где-то слышала, не помню где... и что это ты о футболистах заговорил, Гриша?

— Тебе это интересно, — сказал мужчина.

— А тебе что интересно?

— Только ты.

— И этот Асатуров, и этот Аршам, и это дело с картофелем.

— Но и это ведь для тебя.

Женщина чувствовала на спине влажное прикосновение его руки. Она не переменила позы, не шевельнулась, но, наверное, мужчина понял, что она не хочет, чтобы он обнимал ее, она никогда не давала понять этого ему, ни разу, но, конечно же, он чувствовал это и поэтому был неспокоен.

— Как ты ночь спала, Нина?

— Неважно, — ответила она, — этот парень храпел, я не смогла заснуть.

— Но ты сказала, что он на четвертом полустанке сошел...

— Ну да, я не сумела заснуть, а потом села женщина с двумя девочками, старик...

Уже на третьей остановке в купе вошел в старомодном коротком пальнике и черной шляпе старик. Он сел в их купе и, обнаружив молодых мужчину и женщину наедине, казалось, счел своим долгом уставиться на них и не отрывать взгляда.

— Я постараюсь, чтобы его перевели в другое купе, — сказал этот парень, имя которого было Брам, — он и мне не нравится.

И вышел. Чуть спустя вошла медленная и спокойная проводница и пригласила старика в другое купе. И, даже выходя, до самых дверей купе старик все оглядывался на нее, словно желая запомнить ее и словно недоумевая, как это можно такой ненадежный груз отправлять в одиночку, в отдельном купе поезда, наедине с молодым мужчиной.

— На какой он сел станции? — спросил мужчина.

— На второй или на третьей, — сказала женщина, — не помню, он стонал все время, потом села женщина с двумя маленькими девочками, это еще не доезжая до Кировакана.

— И ты рассказала девочкам сказку про трех царевичей?

— Но это было уже утром, ночью они спали, ты все перепутал.

— А потом ты заснула и не видела, кто сходит, кто новый в купе едет?

— Я не понимаю, Гриша, к чему этот бестолковый разговор, тем более что я сказала, что почти не спала ночью. Я устала.

Она повторила это, чтобы он понял, что она может сказать про это сто тысяч раз. Но что ничего другого она не скажет.

— Я плохо спала, мне надо выспаться, Гриша.

Но она переборщила, и она это тут же почувствовала и поняла, что переборщила — слишком уж она пыталась убедить его в чем-то. И конечно, это его насторожило.

— Тебя удивляет, что я спрашиваю, как чувствовала себя в поезде ночью моя жена? Тебе стран-

ным кажется мое внимание, потому что ты сама...

— Я понимаю все, Гриша, и ценю, я все прекрасно понимаю и, видишь, отвечаю тебе как можно терпеливо и подробно, но ты уже потерял чувство меры, тебе не кажется?

— Но ты же видишь, как это меня все волнует!

— Вижу, Гриша, и поэтому хочу, чтобы ты все знал. Ты думаешь, мне приятно все это вспоминать?

— Неприятно?

— Ох, да что приятного может быть? Но ты знаешь, мне начинает казаться, что у тебя самого совесть нечиста, да, наверное, нечиста, оттого что захотел вчера от меня избавиться.

— Нина, — сказал мужчина, — у меня даже настроения нет думать так, можешь поверить?

Женщину все это начинало уже злить.

— Но, Гриша, ты видишь, я тебя не упрекаю, не требую никаких объяснений, ты можешь быть спокоен, меня удивляет только, о чем это мы столько спорим, для чего? Так мы и будем отравлять себе жизнь пустяками, понимаешь — пустяками — ведь все ясно, спорить нам не о чем. Ты не согласен? Больше всего сейчас нам нужно спать.

— Хорошо, я замолчу.

— Делай, что хочешь, черт с тобой, но дай мне заснуть. Потуши этот свет.

— Ты же знаешь, я люблю так.

— Пусть будет по-твоему, — сказала женщина.

— И это потому, что я хочу тебя видеть.

— Я очень хочу спать, слышишь, Гриша?

В соседней комнате что-то шуршало, как будто мышь скреблась, голосов человеческих не было

слышно. И женщина поняла, что это еще не конец, что что-то осталось для мужа невыясненным.

— Что за жизнь, — вздохнула она.

Она сказала это, чтобы он понял, что и она недовольна, но что все равно надо спать и надо ценою каких-то уступок обрести хотя бы видимый покой, и вот она первая идет на уступку.

— Ты какой вчера помадой красилась? — спросил мужчина.

— А что?

— Ты всегда морковной пользовалась, а сегодня...

— А что сегодня, сегодня что?! А сегодня другая, ну и что, что из этого, что?!

— Я не то хотел сказать...

— А что еще, что еще ты хотел сказать?! Довольно, Гриша, ты начинаешь мучать меня.

— Я ничего не сказал тебе.

— А кто заговорил о губной помаде — я?

— Я не о том хотел сказать.

— Я понимаю тебя прекрасно.

— Если бы ты понимала меня, нам никогда не пришлось бы ссориться.

— А какая помада у твоей машинисточки? — спросила женщина.

— Не помню, Нина, честное слово, не помню.

— Ты все вечно путаешь, и я не понимаю, почему это мы в самом деле так много ссоримся. Но случается ведь — ты не думаешь? — когда два человека получают удовольствие от разговора, а?

— Случается, — вздохнул мужчина.

С этим Врамом женщина не помнит, чтобы они

говорили о чем-то серьезном или спорном. Потом Врам вдруг сказал:

— Уже пять утра.

И она удивилась, как быстро и незаметно прошло время.

— Я не понимаю, — сказал мужчина, — не понимаю, почему мы друг с другом как собака с кошкой.

— А я понимаю, Гриша. Есть в тебе что-то такое, неприятное мне. И во мне — тебе.

— Но ведь и у других это так, и не все ведь грызутся между собой, как мы.

Женщина ответила не сразу. Этот Врам рассказывал всякие занятные истории, и время шло быстро и незаметно.

— Наверное, — сказала женщина, — у них не остается времени на грызню. Гриша, расскажи какую-нибудь веселую историю. Если ты не знаешь, расскажу я. Можно жить и не ссорясь, Гриша. Рассказать смешную историю?

— Я могу. Эти футболисты всю дорогу рассказывали, и Аршам тоже: как перемахнет за стаканчик — не остановишь. Правда, они все немного похабные, немного нецензурные, эти истории...

— Да ладно, Гриша, расскажи, надо же и нам минутку побыть спокойно.

— Нина, но все эти штучки так быстро забываются, я вдруг забыл все...

— Ну, тогда слушай. Муж уезжает в отпуск...

— А ты это откуда знаешь?

— Дай кончить, не перебивай... господи, Гриша... Ну вот, у него отпуск, а у нее нет, так это и бывает, правда?

— Погоди, жена уходит в отпуск или муж?

— Жена.

— Да нет, муж...

— Это неважно, Гриша, главное — смысл анекдота. Вот жена подвязывает к кровати снизу, к сетке, килограммовую гирию...

— Нина, кто тебе рассказал это? Ведь я знаю, эти анекдоты тотчас забываются, вчера эти два футболиста всю дорогу рассказывали, а я сейчас ни одного уже не помню, и потом ты раньше не увлекалась анекдотами, а?

— Но, Гриша, должно же быть какое-то разнообразие в нашей жизни, мы все время такие однообразные и уже надоели друг другу.

Они говорили шепотом в красноватой полутьме, и шепот этот был свидетельством невысказанного их сговора, что ссора у них никогда не перейдет в скандал, так и будет протекать, на полутонах, умеренная, тихо будет тлеть.

— Ох, как мне все надоело...

— Нет, ты мне скажи все-таки, такие истории быстро забываются, кто тебе ее рассказал: всю ночь стонавший старик или пожилая женщина с двумя маленькими внучками?

Страх лишиться друг друга удерживал их в каких-то рамках, они не переходили никогда границы. И женщина чувствовала, что именно это самое во всем утешительное.

— Такие истории быстро забываются, Нин, слышишь, потому что оба футболиста...

— Оба? А кто же четвертый был пассажир? — спросила женщина.

— Ну ясно, третий футболист.

— А рядом с водителем кто сидел — четвертый футболист?

— Туда сел один старик из Ахалцхи, он вез яблоки в Севан продавать, а в Севане подсел какой-то учитель математики или бухгалтер, не знаю, и ехал до самого Еревана.

— А третий футболист анекдотов не знал ни одного?

— Нина, ты смеешься, их было трое, два очень веселых, в Севане мы вместе позавтракали.

Женщина ни о чем больше не стала спрашивать, но, видит бог, он сам все путал, и она рассмеялась.

— Ладно, я в самом деле смеюсь, я не буду больше задавать вопросов.

— Доскажи свой анекдот, так и быть, что там дальше происходит?

— А дальше муж возвращается и видит...

— Нина, это вовсе не смешно, и тот, кто тебе рассказал это, просто дурак, идиот какой-то.

— Смотря как рассказывать, я не умею. Один был человек — он хорошо рассказывал, хотя, наверное, был круглый идиот...

— Вот видишь, был один человек, Нина.

— Ну и что, не понимаю, что в этом такого, ну да, был человек — рассказывал анекдоты. Я не понимаю, ты меня на поезд посадил одну и отправил — не знаю уж с какими такими задними мыслями, и теперь придираешься к каждой мелочи.

— Я только хочу знать, кто тебе рассказал эту прекрасную, веселую, развлекательную историю.

— Никто не рассказывал, в Кировакане два

парня подсели, они друг другу ее рассказывали, я услышала, а уж кто были эти парни, я не знаю — поезд не мой, и не твой, и не отца твоего. Чего ты от меня хочешь, Гриша?

— С вокзала ты прямо в гостиницу пришла? — спросил мужчина.

— Прямо в гостиницу.

— Села в такси и приехала?

— Нет, в самолет села и прилетела.

— Нина, видишь, ты сама лезешь в ссору.

— Ну, хорошо, села в такси и приехала, что дальше?

— А где ты завтракала?

— Но, Гриша, мало ли где я могла позавтракать. И ведь если бы я хотела, я бы сейчас тысячу неправд сочинила. Я тебе уже все рассказала, доложила. А ты заводишься снова.

Она обедала в какой-то столовой «Зепюр». Там этот парень, которого Врамом звали, сказал ей: «Ты можешь прийти ко мне, я остановлюсь в гостинице «Севан», ты можешь ко мне туда прийти». И тут она, наконец, разглядела его как следует. Высокий, можно сказать даже — узкий и длинный, лицо тоже продолговатое, длинное, нос тоже, хотя подбородок широкий и рот большой... верхняя губа толстая, и жидкие тонкие концы усов свисают по краям рта, нос длинный, узкий...

— Гриша, — спросила женщина, — ты и завтра будешь занят этим своим делом?

— Каким делом? — отозвался мужчина.

— Своим картофелем или Аршамом.

— Очень.

— Сколько времени?

— Для чего ты спрашиваешь?

— Мы целый год не были в этом городе, сколько нового, наверно, тут появилось, и потом, я что, не имею права поинтересоваться, когда мой муж мною займется?

— Ты для этого спрашиваешь? — сказал мужчина.

— Для чего же еще, подумай сам, с кем мне еще разгуливать по чужому городу?

— Я буду занят часов до шести, с полудня, а как утро — не знаю еще, завтра выяснится.

Женщина на секунду задумалась: этот парень по имени Врам там же, в «Зепюре», сказал ей: «Завтра после двух я буду на футболе, ты можешь меня навестить или до этого, или вечером». Разговаривая, этот юноша как-то странно подкидывал вверх плечи и сопел.

— Ты и вправду из-за футбола сюда приехал? — спросила она у него.

— Я и в поезде тебе сказал — из-за футбола.

— И после этого тебе не все равно будет, проиграет твой «Арарат» или нет?

— О конечно, не все равно будет, — ответил этот юноша, — я даже думать об этом не могу спокойно. О двух вещах я не могу думать спокойно: о женщинах и о футболе. Но «Арарат» выиграет, увидишь.

— Гриша, тебя не интересуется завтрашний футбол?

— С чего это? — удивился мужчина. — И потом «Арарат» все равно проиграет, увидишь.

— И тебя это не огорчит?

— Огорчит? Да ты что, в первый раз меня видишь, что ли, вопросы какие задаешь...

И вдруг женщина почувствовала, что самого ближнего своего можно понять только через близость с другим.

— О нет, — сказала она, — я тебя давным-давно знаю, мой Гриша. Гриша, — сказала она тут же, — завтра я пойду с утра пройдусь по магазинам, потом, может, позавтракаем вместе?

— Завтра видно будет, — ответил мужчина, — не знаю еще.

— Пройдусь по магазинам, встану рано, потом вместе позавтракаем — ты не хочешь?

— Завтра станет известно.

— Что станет известно — хочешь ты со мной завтракать или нет?

— Смогу с тобой позавтракать или нет.

— Наверное, у тебя будет занятый день. Давай спать.

— Спи, кто тебе мешает, — сказал мужчина.

— Не мешаешь, не мешаешь, успокойся.

— Во всяком случае, я никогда не храплю.

— Ох, какое достоинство!..

Нет, у него были совсем другие достоинства — ни с кем другим больше она не составляла такой блестящей, великолепной пары.

— Помнишь, Грища, — сказала она, — в прошлый раз мы здесь были на «Лебедином озере»?

Мужчина молчал.

С парнем, которого звали Врам, можно было ехать в одном купе, можно было быть в одном номере в гостинице, можно было сидеть у черта на куличках — в забегаловке «Зепюр», но она

не сомневалась: блеску было во всем этом мало, вокруг этого парня было маловато блеска. К стоянке такси они пошли врозь, она сказала ему:

— Нас могут увидеть вместе, пройди вперед или отстань.

И пошла сама быстрее. Просто нелепо было бы представить себя рядом с этим длинным и тонким парнем. А с этим человеком они были такая пара.

— Гриша, ты огорчился? — спросила женщина.

— Нет, отчего.

— Мы не пойдем завтра в оперу?

— Не обещаю.

— Помнишь, Гриша, в прошлый раз все смотрели на нас.

— Да.

— Ты был в своем английском бостоне, черном, помнишь?

— Не помню.

— Ну и пара же мы были! Пойдем, Гриша, завтра куда-нибудь, пойдем на «Ануш», завтра в опере «Ануш».

— «Ануш»? — переспросил мужчина. — Я думал, «Аида», я был уверен.

— Ты тоже справлялся, Гриша?

— Я хотел пойти завтра с тобой на «Аиду».

— И ничего мне не говорил?

— Мне не хотелось обещать напрасно, я еще не точно знаю.

— Слушай, — сказала вдруг женщина, — если ты собрался с кем-нибудь еще в оперу или в дорогой ресторан, знай, ничего из этого не получится,

так и знай, ничего не выйдет, я не позволю, слышишь? Чтобы ты кого-то еще водил в оперу или ресторан — ты только со мной должен идти в оперу! И в ресторан тоже. Слышишь?

— Нина, но уверяю тебя: ни с кем и никуда я не собирался... и если бы я знал, что это так для тебя важно... да и повода нет, что ты вдруг заволновалась...

— Я не заволновалась, но вечером мы пойдем в оперу, а то на что это похоже, для чего еще мы вместе живем? Конечно, важно. И в ресторан пойдем, в «Армению». Или что-нибудь в этом роде.

— Пойдем, Нина, конечно, пойдем, обязательно.

Женщина видела, что мужчине хотелось бы, чтобы она всегда вот так вот дорого себя ценила и ломалась, была неуступчивой.

— Ты мне дорог, Гриша, слышишь?

— Нина, знаешь, что ты сейчас для меня?

Женщина молчала.

— Нина, знаешь — все счастье человеческое.

— Это не так, — сказала женщина.

— Все счастье, — повторил мужчина.

Женщина знала: в такие минуты все просто забывается, просто нет времени думать в такие минуты, но она-то знала, кто-кто, а она знала, что всегда была для него поводом для беспокойства.

И она сказала:

— Это не так.

— Поверь мне, Нина.

Она верила.

А этот Врам сказал ей:

— Преступление, чтобы ты одному доставалась.

Видимо, принципы равенства трансформировались у него таким образом. И этот молодой человек и Гриша — они оба не понимали человеколюбивого смысла своих собственных слов. Если бы она могла от кого-нибудь получить то, что называлось всем счастьем человеческим...

— Мне хотелось бы принадлежать только одному, — сказала она.

— Кому? — спросил этот Врам, озадаченный.

— Не тебе, — сказала она.

Это было правдой, и она почувствовала поднявшаяся молчаливое смятение в этом Вrame.

— Завтра, — сказала женщина мужу, — когда мы выйдем в фойе оперы, все будут на нас смотреть.

И она удивилась, как этот человек не понимает всей нелепости и бессмысленности своих подозрений и тревог. В конце концов она может всем пользоваться в этом мире — в той мере, в какой пользуется всякий человек. Наконец, он может с тем же успехом тревожиться и беспокоиться, что люди вообще пользуются этим большим и разнообразным миром. Она рассмеялась.

— Глупо как, неумно, у-у-у, как глупо...

— Что, Нин? — отозвался мужчина.

— Весь наш спор, о чем это мы столько говорим — жадные мы, жадные, вот что.

Мужчина, по-видимому, ничего не понял, он переждал немного и спросил:

— Нина, это правда?

Наверное, он не раз задавал себе этот вопрос и думал теперь, что женщина поймет его с полуслова.

— Что — правда?

— Что я мучаю тебя. Я чувствую, как ты мучаешься, чтобы доказать мне, что...

Он как-то раз, давно еще, обронил: «Я о своей жене не должен думать плохо, я должен быть уверен в тебе; если этого не будет и я буду продолжать жить с тобой, значит, я дрянной человек, грош мне цена...»

— Ты так мучаешься, чтобы доказать мне что-то...

— В этом-то и вся ошибка, Гриша, — засмеялась женщина, — что ты заставляешь меня в чем-то тебя убеждать, уверять, что-то доказывать, ведь в этом нет нужды, понимаешь, нет нужды...

— Я не злой человек, Нина, — сказал мужчина, — и женщин я понимаю, вон наша новая машинистка, муж ее оставил с девочкой, хотя странно, как можно было не поладить с такой мягкой, безответной женщиной. Знаешь, что она говорит: женская судьба, говорит, как пойдет под откос — все, не поднять ее больше. Верно говорит. Бедная... Если бы я мог, я бы всем этим женщинам сделал что-нибудь доброе...

— Скажи мне, — сказала женщина, — сколько дней она у тебя работает?

— Кто?

— Эта машинистка.

— Второй день.

— И ты уже знаешь всю ее жизнь?

— Нин, я сплю.

— Все? Успокоился? Не будешь мне больше голову морочить?

— Я сплю, Нина, — сказал мужчина, — можешь погасить этот свет.

Женщина протянула руку, нажала на кнопку ночника, свет погас, комната погрузилась в темноту.

— Солнце какое яркое, — сказала женщина, — в самом деле солнечный Ереван... а Арарат не видно, где кончается...

— Открой обе створки, — сказал мужчина, — пусть проветрится.

— Тише мойся, Гриша, — сказала женщина, — всю грудь забрызгал. Поедем в этом году в Мацесту, Гриша. Сочи надоели.

— Открой все окно, слышишь, днем все равно придется закрыть от жары... Посмотри, не осталось там от вчерашнего коньяка?

— Сейчас, милый.

— Ты почему ночью была такая неласковая? — спросил мужчина.

— Знаешь, Гриша, — ответила женщина, — все дело в том, что тебе и всякому другому нужно все счастье человеческое сразу, но каждый из нас может дать только часть его... и ты не требуй от меня...

Это была целая вереница аргументов в пользу себя, которые женщина начинала каждый раз раскручивать то с одного, то с другого конца, но мужчина никогда ничего из этого не понимал, а сейчас, при свете дня, все и без того казалось благополучным и мирным, к тому же мужчина опаздывал. И он пожалел, что задал такой вопрос.

— Где же расческа, — крикнул он, оглядывая все кругом, — куда я ее забросил?! Значит, Ни-

на, — он приблизился к ней, потянул за подбородок, поцеловал в щеку, — до обеда я буду с этим Карапетом Асатуровым. Потом мы с тобой пообедаем вдвоем. Я думаю, ты не будешь скучать без меня днем, — он снова поцеловал ее, — походи по магазинам, пройдишь по городу. Ты ведь не будешь скучать, Нин? А вечером мы пойдем в оперу.

Он повесил полотенце и прошел в комнату.

ХОТЬ ОДИН ДРУГ

От тротуаров шел пар. Солнце согревало лицо мальчика. Вот уже больше часа они втроем — с ним были Карен и Ара — шли от школы. У входа в парк они остановились.

— Я могу купить у тебя что-нибудь, — сказал Ара, — я дам тебе взамен денег, и мы продолжим игру.

Карен потянулся было к портфелю, зажатому под мышкой.

— Подумай, — сказал Ара, — я дам тебе денег, — он позвенел зажатými в горсти монетами, — я хорошо заплачу, если у тебя есть что-нибудь стоящее.

Мальчик в одной руке держал свой портфель, в другой портфель этого Ара, так что у самого Ара руки были свободны и он продолжал позвякивать мелочью.

Они шли по только что освободившейся от снега, еще грязной аллее, и мальчик восхищался, как это Ара небрежно ступает прямо по лужам. Вообще мальчик удивлялся, что этот Ара умеет ни о чем не сожалеть, ничего не замечать.

— Подумай хорошенько, — сказал Ара.

А Карен думал, видно или не видно, что у него еще что-то есть, что на деньги можно обменять...

— Мне-то что, мне все равно, — сказал этот Ара, — я выиграл, я могу спокойно удалиться. Но если бы у тебя было копеек пятьдесят, ты мог бы вернуть свои деньги. Это ведь тоже не исключено, чтобы ты отыгрался, а?

Мальчик сегодня не завтракал и вчера не завтракал — у него скопилось целых двадцать четыре копейки. Ему показалось, Карен знает про эти двадцать четыре копейки и потому, наверное, медлит и тянет.

— Кар, — сказал он, — если ты не откажешься, я могу...

Но этот Ара посмотрел вдруг на него строго и сдерживающе. И сказал:

— Правил не знаешь. В игре каждый за себя, понятно?..

Мальчику показалось, что существуют случаи, когда выручать товарища — плохо.

— Ладно, — сказал Ара, — я тебе добра хотел, ты столько проиграл мне. Не хочешь — не надо, потом жалеть будешь.

Он отвернулся от Карена, протянул руку, чтобы взять у мальчика свой портфель.

— Пошли, — сказал он мальчику, — пошли, все равно он не понимает, что ему хорошо, что плохо.

Они пошли к выходу, и мальчик подумал, что на сегодня — все; сейчас они втроем выйдут из парка, пройдут по улице какой-то кусок и расстанутся; первым уйдет Карен, а они с Ара дойдут вместе до здания ближайшего кинотеатра и тоже расстанутся. Уже пять лет они возвращаются из школы вместе — он, Карен и этот Ара. Карен в этом

году в другом классе учится, но они все равно с уроков возвращаются вместе.

— Кар, — сказал мальчик, — ты подождешь завтра?

— Подожду, — сказал Карен.

И мальчик по голосу почувствовал, какой он грустный.

— Стойте, — сказал Карен.

— Ты подумай, — сказал ему Ара, — еще есть время, если хочешь, отдай мне что-нибудь из своих вещей за деньги, хотя бы альбом с марками, я тебе пятьдесят копеек дам, хотя он мне ни к чему, мой классер ничуть не хуже, но ты подумай.

Они были уже у выхода из парка. Карен оставил портфель на колено, достал альбом с марками — он всегда держал его при себе; мальчик знал, как он радуется каждой новой марке.

— Пятьдесят копеек, — сказал Ара, — можно и пятьдесят пять, но шестьдесят не дам, предупреждаю.

— Стой, — сказал Карен; он не перелистал альбом, как всегда, он протянул альбом Ара и смотрел на него так, как будто только его лицо и было нужно ему, — держи.

Ара сунул альбом к себе в сумку и стал отсчитывать монеты.

— Ты потом продашь его мне обратно? — спросил Карен. — Я тебе больше заплачу, продашь?

— Продам, — сказал Ара, — на что он мне?

Они отошли в глубь парка, подошли к скамейкам. Карен выиграл у Ара пять копеек, потом еще пять, но мальчик не верил, что он полностью отыграется, и это неверие злило его и делало нетерпе-

ливым, и он знал, что Карен тоже нервничает и торопится, потому что тоже не верит, что отыграется.

— Вот видишь, ты уже начинаешь выигрывать, — сказал Ара, — игра такая: то проигрываешь, то вдруг начинает везти. Если ты выигрываешь, значит, игра повернулась к тебе лицом, верно, дорогой мышонок?

Этот Ара, когда бывал в хорошем настроении, всех называл «дорогой мышонок». Он подкинул вверх монету, ловко подхватил ее на лету и зажал между большим и указательным пальцами.

— Сейчас твое счастье испытаем, — сказал он Карену.

— Пять копеек, — сказал Карен.

— Забирай выше, в игре нельзя упускать момент, — сказал Ара. — Раз везет, не теряйся, хватай. Видишь, — сказал он мальчику, — я сам хочу, чтобы он выиграл, мне ведь жалко тебя, дорогой мышонок. Слушай, давай на все деньги сразу, неохота больше тут торчать...

Мальчика удручало то, что он не верит в Карена, ему казалось, все равно выиграет этот Ара, а он хотел, чтобы выиграл Карен, и не верил. Если бы проигравшим был Ара, он желал бы удачи Ара. Мальчику вообще не хотелось, чтобы кто-нибудь проигрывал. И чтобы все это скорее кончилось, он сказал Карену:

— Играй на все деньги. — «И в самом деле, — подумал он, — вдруг повезет». — Может, отыграешься, — сказал он.

— Ну, хорошо, все, — заорал Карен.

Ара разжал руку:

— Не получилось. Ты думаешь, я рад, я сам хотел, чтобы ты отыгрался.

Мальчик думал: сейчас они перейдут улицу, пройдут какой-то кусочек, Карен попросится с ними, и он скажет, обязательно скажет этому Ара, что он нехорошо поступил, и неужели он не заметил, какой грустный сделался Карен, и ведь Карен их друг, они каждый день вместе, а он, Ара, так не по-товарищески поступил... Мальчику хотелось, чтобы все это Ара сам понял, до того как они перейдут улицу.

— Я пошел, — сказал Карен.

Но не ушел, шел с ними дальше.

— Я пошел, — повторил он.

— Карен, — сказал мальчик, — ты подождешь меня завтра?

Карен кивнул.

— Матери скажешь, что потерял деньги?

Карен кивнул снова.

— Привет, Карен, завтра увидимся, — сказал Ара; потом он сказал мальчику: — Ты хотел отдать ему свои деньги, — не понимаю, зачем; он себе завтракает каждый день, и молоко и булку лопает, — а ты деньги ему отдавать? Поиграем лучше?

— Нет, — сказал мальчик. — Карена тебе удастся подбивать.

— Ты крепкий, — сказал Ара, — но не хитрый. У тебя ничего не будет получаться. Был бы ты похитрее, лучше бы дружка не было. Ты не заметил, как я обдираю его? Хочешь, скажу?

— Как? — сказал мальчик.

Рядом с этим Ара он действительно чувствовал

себя беспомощным и нерешительным, ему хотелось походить на него. Хотя бы луж не замечать по пути. Ему хотелось быть беспечным и смелым, как Ара, и каждый раз ему что-то мешало. В присутствии Ара мальчик чувствовал себя особенно беспомощным и несостоятельным.

— Кусочек пластилина, — сказал Ара. — С одной стороны монеты надо налепить чуть-чуть пластилина, а потом пальцем нащупать. Видишь, как просто. Ты так не можешь, ясное дело; если бы ты умел такие штуки проделывать, лучшего товарища не найти было бы.

Карен не обманул. На следующий день после уроков он ждал мальчика. Они дошли вместе до парка, и мальчик предложил:

— Сыграем на деньги?

Парк был весь в густом тумане — где-то далеко проходили по тротуарам закутанные в плащи люди, было трудно определить, кто из них мужчина, кто женщина, все они казались в тумане высокими и стройными, звук их шагов не доходил до мальчика, и они казались от этого мягкими, как из губки. Мальчик не понимал, почему в этом пропитанном сыростью, неясном дне, почему он испытывает такую щемящую грусть и одиночество. Он выиграл у Карена все его деньги, все шестьдесят копеек, на которые тот должен был купить две буханки хлеба для дома.

— И что же дальше, Кар? — спросил мальчик уже на улице.

— Скажу матери...

Но Карен не знал еще, что скажет матери сегодня, надо было что-то придумать.

— Что скажешь, Кар?

Карен не ответил, он зажал портфель под мышкой еще сильнее и не отвечал. А мальчик шел, не замечая луж, чувствуя пальцами ног и макушкой холод, чувствуя, как холод пробирает все тело, как проникает он во все в этот холодный грустный день. Он поднял воротник у пальто, втянул голову в плечи, стараясь согреться и унять нервную дрожь.

— Что скажешь?

— Не знаю, — сказал Карен.

— Видишь, Кар, — сказал мальчик. — Я ведь не Ара, я беспокоюсь, что ты скажешь дома. Дурацкое положение, да? — И вдруг он почувствовал, что слова утешения прозвучали бы сейчас не как всегда, а совсем по-другому, так, как если бы их произносил Ара. Он почувствовал, что и внешне, с поднятым воротником, с портфелем под мышкой, руки в карманах, он здорово смахивает на Ара. И замолчал.

— Я пошел, привет, — сказал Карен.

Мальчик заметил, что они прошли кафе «Лира».

— Уходишь? — спросил он.

— Да.

— Завтра подождешь меня?

— Завтра? — удивленно переспросил Карен.

И мальчик понял, что думает про него Карен: мол, ты получил, что тебе надо было, что же тебе еще от меня нужно и какое теперь имеет значение, буду я тебя ждать завтра или нет? Мальчику захотелось спросить у него, почему он играет на деньги и почему он согласился с ним, мальчиком, сыграть, ведь они друзья.

— У меня пенал хороший есть, — сказал Карен, — видел?

— Кар, тебе домой надо, — сказал мальчик.

— Отец из Москвы привез, — сказал Карен.

Мальчик почувствовал, что сейчас он ничем для Карена не отличался от Ара.

— Это я предложил сыграть, — сказал мальчик, — не надо было, но мне казалось, я не смогу, но это неважно... Я не должен был этого делать. — Он достал из кармана все деньги, взял руку Карена, высыпал их туда. — Не забудь купить хлеб, и потом, Кар, ты подождешь меня завтра?

— Ну как, — спросил утром в школе Ара, — обобрал дорогого мышонка?

— Ара, — сказал мальчик, — я выиграл у него все деньги и мог взять у него пенал и продолжать.

Он почувствовал, что мог проделать все это не хуже самого Ара, он уже знал: он все сможет, только сначала надо было подумать: есть где-нибудь на свете человек, который будет ждать тебя, искренне, по-настоящему ждать, но об этом ему не захотелось говорить с Ара. Он вспомнил черные мокрые подошвы Карена, когда тот удалялся от него вприпрыжку по лужам, и понял, что Карен от радости не чувствовал, как брызгает на себя.

— Знаешь, — сказал мальчик, — о чем я думаю? Можешь ты кому-нибудь хоть столечко пользы принести? Можешь сделать так, чтобы у тебя был хоть один друг?

ДВОЕ СРЕДИ СУМРАЧНЫХ ХОЛОДНЫХ ДОМОВ

— Сиди спокойно и перестань ерзать, — сказал отец, — можно подумать, под тобой целый ворох иголок. И не наваливайся так на стол... Локти тоже не мешало бы убрать.

Он знал, что бывали минуты, когда сын не замечал его присутствия. В эти минуты он чувствовал себя бесконечно одиноким: он хотел всегда существовать для своего сына.

— О, Парсам! — послышалось возле их стола. — Привет! Что я вижу: семейный обед, дружественная обстановка, подумать!

— Садись с нами, Еган, — сказал отец. — Что нового на участке?

— Брось, пожалуйста, — весело поморщился Еган. — Как поживает Парсам-младший? — Он повернулся к мальчику, и рука его стукнулась о стол: мальчик резко увернулся от ласки. — Великолепный растет мужчина.

— Сегодня, — сказал отец, — он опять убежал в Раздан. Утром проснулся, его уже не было, успел смыться.

Мальчик уткнулся в тарелку, но все равно продолжал чувствовать на себе сердитый взгляд отца.

— Я бегом к автобусной остановке, а его уж и

след простыл. Можешь себе представить, когда он проснулся.

Про себя отец думал: «Мальчик скучает. Я бы на его месте и не то делал».

— Ай-ай-ай, — Еган покачал головой, — что же это ты, а? Смотри у меня, еще раз такое услышу — выпорю. Не веришь? Ей-богу, выпорю.

Еган был крепкий и беззаботный парень.

— А что, Парсам, — сказал он, — что ты скажешь насчет того, чтобы вечером собраться? Дом один имеется на примете, шашлычок будет и, сами понимаете... — Он щелкнул себя по горлу. — Идет? — Еган протянул руку отцу.

Отец, не глядя на него, тоже протянул в знак согласия свою руку.

— Вот и правильно, — сказал Еган. — В чем же еще смысл жизни? А ты, малыш, веди себя прилично, слышишь?

Еган помахал им на прощание рукой и заспешил в выходу.

— Еган, — крикнул отец, — ты зайди за мной вечером, от нас пойдём.

Еган еще раз махнул рукой и скрылся. Мальчик с шумом отложил вилку. Он заметил, как у отца напряглось лицо.

— Ешь, — сказал отец. Он не смотрел на сына, словно не замечая недозволительности его поступка. — Ешь, ты же любишь это.

— Не хочу, — с подчеркнутым упрямством сказал мальчик и оттолкнул от себя тарелку.

В другое время отец замечал малейший его проступок, но теперь он молчал. Он думал о том, что с мальчиком надо было бы поговорить. Надо было

сказать мальчику: «Ты поступаешь нехорошо, ты упрашиваешь каждый раз шофера Никола взять тебя с собой. Никол сам, конечно, неплохой человек, но в Раздане ты можешь познакомиться с плохими ребятами, и они научат тебя многому дурному. Видишь, я не трогаю тебя, — должен был сказать отец, — не бью тебя, но я хочу, чтобы ты знал, что такая своевольная жизнь не приведет тебя к добру». Отец продумал эти слова еще утром, стоя на безлюдной автобусной остановке. Теперь все это надо было сказать вслух, и отец чувствовал, что, если он сейчас заговорит, голос его не будет звучать достаточно спокойно и убедительно.

Он помог мальчику надеть пальто, и они вместе вышли из столовой.

Когда они дошли до своего дома, день вдруг померк, небо разом потемнело, пошел крупный, мягкий, спокойно опускающийся на землю снег. В рабочем поселке зажглись огни. Наступил вечер.

Дома отец выгладил еще вчера постиранные вещи, почистил мальчику ботинки, натер их ваксой, поставил на огонь чайник. Они сели друг против друга перед радиоприемником.

— За сколько, говоришь, пробежал Роберт Хейс стометровку? — спросил отец.

— Не стометровку — сто ярдов, — поправил мальчик, — за девять и одну десятую секунды. — А как ты думаешь, па, — спросил мальчик, — победит Брумел в Токио этого Джона Уинтери?

— Непременно. Попьешь чаю один, — сказал отец. — Будешь выключать газ — не забудь верхний кран повернуть. Со стола я сам уберу, когда вернусь.

Мальчику сделалось грустно. Значит, отец на самом деле уходит. Отец распахнул форточку, и до мальчика донесся свежий острый воздух улицы.

— Я не буду ужинать, — сказал он.

— Что же ты будешь делать все это время? — сказал отец мальчику, но спрашивал он, казалось, себя самого.

— Ничего не буду делать.

Еган вошел шумно, с ботинок его отваливался кусками снег, он сразу же стал торопить отца.

— Бежим скорее, — сказал он, — бежим, а то придется полчаса торчать на остановке.

— Ты ведь попьешь без меня чаю? — сказал отец мальчику.

Мальчик не ответил.

— Ну, что ты будешь делать, скажи мне? Я боюсь оставлять его одного, Еган, не такой это фрукт, чтобы его можно было оставить со спокойным сердцем.

— Ты будешь хорошо себя вести, Сет, — сказал Еган мальчику.

Мальчик стоял рядом с отцом. Отец провел рукой по его волосам. По тому, как были напряжены пальцы, мальчик понял, что отец сердится и еле сдерживается, чтобы не накричать на него.

— Может быть, ты пойдешь в кино? В клубе идет «Сашка», я дам тебе денег, походи. — Мальчик уже смотрел два раза «Сашку», он мог посмотреть это еще десять раз, но он покачал отрицательно головой. — Ну, тогда походи к тете Нанар телевизор смотреть. — Мальчик не хотел и к тете Нанар. — Ох, я не знаю! Я не знаю, что мне с ним делать. — В эту минуту отец был страшно зол на мальчика и на

все, что с ним было связано. «И мать у тебя была точно такая, такая же упрямая», — хотел было сказать отец, но вместо этого сказал Егану: — Ты еще не знаешь, что это за упорство... Может, ты на лыжах пойдешь покатаешься? Или хочешь, поройся в моих книжках?

— В будущем году откроют интернат, — сказал Еган, — отдашь его туда.

С неожиданной для Егана нежностью отец вдруг погладил сына по голове.

— Ну ладно, выслушай, что я тебе скажу, отца ведь надо иногда слушаться, верно? Ну так вот, сейчас ты попьешь чаю, чайник уже кипит, лимон знаешь где, со стола можешь не убирать. Будешь ложиться спать — не перепутай: простыню расстели в длину, слышишь? Не забудь запереть дверь.

— Я уберу со стола, — сказал мальчик.

— Ты у меня хороший, — сказал отец.

Ночью мальчик проснулся оттого, что рядом тяжело дышали. Отец лежал на его постели, в пиджаке, с расстегнутым воротом, с выпущенной на брюки рубашкой, плечо было вымазано известкой, шапка валялась на полу. Входная дверь была распахнута настежь, в комнате было холодно, горел электрический свет. Мальчик поднял с полу шапку, затворил дверь, стащил с отца ботинки.

— Па, — позвал он, — па...

Отец, не просыпаясь, повернулся во сне на другой бок. В темной комнате, забравшись на отцовскую постель, мальчик долго плакал. Проснулся он очень рано, бесшумно оделся, поставил будильник у изголовья отца и вышел из дому.

На улице было еще темно. На автобусной оста-

новке не было ни души. Даже в окнах ремесленного училища не горел свет. Снег толстым слоем покрыл все крыши, замел дороги. Мальчик зашел под навес на автобусной остановке. Немного погодя послышались чьи-то шаги. В полутьме проступили силуэты двух съезжившихся в ватниках людей.

— Глянь-ка, какой человек самостоятельный стоит, — сказал один из них, показывая на мальчика.

Мальчик отвернулся.

— Нет, в самом деле какой серьезный! Ну и поколение пошло, молоко на губах не обсохло, а туда же — независимые.

Мальчик забрался на заднее сиденье автобуса. Водителя еще не было. Потом он, наконец, явился, поднялся на свое водительское место и, прежде чем поехать, обернулся, поискал глазами мальчика.

— Ну-ка давай, брат, слезай, — сказал он ему. — Не велел больше отец брать тебя. Выходи давай, люди на работу опаздывают.

Мальчик долго смотрел машине вслед. Потом он пошел по проложенной автобусом дороге и вскоре вышел из поселка. Стало быстро светать. Прошел какой-то грузовик, мальчик посторонился; он стоял немного у обочины и, когда показался второй грузовик, поднял руку. Машина остановилась не сразу. Мальчик подбежал к ней.

— Куда тебе? — спросил водитель. Лицо у него было какое-то приплюснутое, почти такое же широкое, как меховая шапка на его голове. Когда он говорил, во рту у него прыгала потухшая папироса, и казалось, его короткий подбородок словно для того и был создан, чтобы держать эту папиросу.

Зеленоватые глаза были заметно далеко расставлены друг от друга.

Мальчик почувствовал расположение к нему.

— Мне до Раздана, — сказал он.

— Садись, — сказал водитель.

В Раздане мальчик обычно бродил по улицам, заходил в магазины, разглядывал витрины, потом шел в клуб, или же выпрашивал возле ледяной горки у кого-нибудь из ребят коньки, или катался вместе с ними на саях. В Раздане у него было много знакомых.

...После школы он подошел к развилке, где ведущая на строительство дорога сворачивала к поселку. Отсюда был виден один снег. Казалось, он засыпал все строительство, но краны по-прежнему были устремлены ввысь, а приглядевшись, можно было увидеть далеко впереди темнеющую ленту бетонной дороги. Мальчику показалось, что недостроенная дымовая труба теплоэлектростанции уткнулась в самое небо, так низко было небо в этот день. И, глядя на конец дымовой трубы, он почувствовал вес этой страшной сероватой массы, нависшей над равниной.

Две из скользивших по дороге машин свернули, наконец, к поселку и остановились. Отец мальчика сошел со второй машины, мальчик молча взял его за руку, и они вместе с остальными рабочими двинулись к поселку. Мальчик шел рядом с отцом, под мышкой у него был портфель, и замерзающий снег похрустывал под их подошвами. Отец сказал тихо, глядя куда-то в сторону:

— Ты был в Раздане.

В столовой к ним подсел Шмавон. Отец принес

два борща и два вторых на подносе. Шмавон погладил мальчика по голове, потрепал по волосам, словно сравнивая густые волосы мальчика со своими несколькими жиденькими прядями, прилизанными где-то сбоку.

— Шмавон, — сказал отец, — летом, когда приедут твои дети, не позволяй им водиться с Сетом.

— Он хороший мальчик, — сказал Шмавон.

— Он каждый день убегает в Раздан.

— Как дела, Парсам? — спросил проходивший мимо рабочий.

— Да вот третью траншею сегодня кончил, — сказал отец. — Под конец грунт пошел каменистый, несколько ковшей загубил, завтра стану на ремонт. Все будет в порядке. Я только с этим парнем не знаю, что делать, только с ним у меня ничего не получается.

— Он умный мальчик, — повторил Шмавон, — он больше не будет.

— Кроме всего, он меня, кажется, и презирает. Мальчик услышал за собой голос Егана.

— Бери стул, подсаживайся, — сказал ему Шмавон.

Еган придвинул стул.

— Парсам, — сказал он, обращаясь к отцу, — обещай, что вечером составишь мне компанию. Незаменимый товарищ, — сказал он Шмавону, кивнув на отца, — в жизни не встречал более задушевного человека, печальный и молчаливый, люблю таких. Дай мне слово, Парсам, что не откажешься.

— Слышишь, Еган, — сказал отец, — он опять был в Раздане. Ты же обещал вчера дяде Егану не ходить больше...

— Я не обещал, — сказал мальчик.

— Опять убежал? — сказал Еган. — Ай-ай-ай... Так ты придешь, Парсам? Хочешь, я опять зайду за тобой? Как вчера.

— Он больше не будет, — сказал Шмавон.

Мальчик сидел, не притрагиваясь к еде.

— Он не убежит больше, — сказал Шмавон, — а летом, когда придут мои ребята...

— Буду! Буду! Буду! Убегу! — вдруг закричал мальчик. — И завтра уйду! — Раньше он умел крепиться, не заплакать при всех, но теперь ему неудержимо хотелось плакать, и он все повторял сквозь слезы: — Уйду, уйду!..

— Это еще что такое? — удивился Шмавон.

Отец покосился на мальчика.

— Никуда ты больше не пойдешь.

— Пойду, и завтра пойду, — твердил мальчик, захлебываясь.

Отец понимал, что мальчик в самом деле уйдет — и завтра и послезавтра. Вчера ночью мальчик стащил с него ботинки и пиджак, а он ничего не почувствовал, спал мертвецким сном.

— Оставь его, Парсам, — сказал Еган тихо.

— Обещай, что не пойдешь больше, — настаивал отец. У него это получалось так, словно он просил у друга. «Я не умею с ним говорить, как взрослый с младшим, вот в чем беда», — подумалось ему.

«Это еще не скоро кончится, мальчишка его еще помучает будь здоров», — думал про себя Еган.

— Оставь его, — сказал он отцу.

Да, мальчик всегда был помехой им.

— Ты мне лучше скажи, идем мы с тобой вечером или нет, хозяин дома отличный парень, мой старый друг. — Еган протянул, как в прошлый раз, руку и ждал.

Парсам думал, что совсем неплохо было бы снова собраться выпить, но в последнее время ему никак не удавалось поговорить с мальчиком, как он хотел, — как взрослый должен говорить с ребенком. То, что он вчера был пьян и мальчик сам снял с него ботинки и раздел, это еще можно забыть, уговаривал он себя, но он знал: мальчик и завтра убежит в Раздан и он опять бессилён будет помешать ему.

— Еган, — сказал он.

Мальчик понял, что с ним, с мальчиком, разговор окончен, что отец не станет больше настаивать и просить. Ему стало обидно, он совсем расстроился и рассердился при мысли о том, что отец все-таки сдался и не чувствует себя вправе требовать от него, своего сына, послушания. Мальчик с разочарованием понял, что победил.

— И завтра убегу, — с отчаянием сказал он.

Отец не смотрел на него, он смотрел прямо перед собой, на руку Егана, и совсем неожиданно сказал:

— Нет, Еган, не могу, клянусь тебе, не могу. — Он хотел еще сказать: «Просто права не имею», но повторил только: — Не могу, Еган.

И тут мальчик понял, что вовсе и не надо было отталкивать руку Егана, чтобы отказать, достаточно было вот так просто сказать: «Нет, Еган, не могу».

Отец провел рукой по волосам сына и почувствовал между пальцами тепло шелковистых каштановых волос. «Весь в мать, весь», — подумал он и

вдохнул. Они уже кончили обедать, и мальчик, как всегда, не доел второе. Потом они поднялись с мест и пошли.

Рядом с отцом мальчик казался особенно маленьким, и шагающий за ним отец почти закрывал его собой; они прошли между столиками, вышли из столовой и, ступая по рыхлому, свежему снегу, пошли по улице, затерялись среди сумрачных и холодных домов.

БОГ СУРОВОЙ ТАЙГИ ЛЮДЕЙ

Простуженные от вьюги, заснеженные, стоят терпеливые сосны. Снег под ними рыхлый. Летом и то трудно тут найти тропу, а весной совсем худо — земля под ногой затрещит, уйдет вниз, и сам ты начнешь медленно проваливаться в прохладный болотный ил.

После полудня Митрич почувствовал голод. Собака совсем выбилась из сил. Митрич разжег маленький костер, достал из вещевого мешка кусок завернутого в белую холщовую тряпку сала, положил на хлеб и стал медленно жевать, откусывая большие куски. Огляделся. В глубине чащи кустарник лежал побитый. Вон куда, подумал он, спешил косолапый. Завтра они с собакой дойдут до тех мест, посмотрят, как он устроился на новом месте. Вот так посещенье будет.

Он отрезал и бросил перед собакой толстый кусок сала, остальное завернул обратно в тряпку, засунул в рюкзак. И почувствовал, как во всем теле, в коленях разливается тепло. Потом вспомнил, что в бутылке оставалось еще больше половины, сказал собаке: «А водкой попотчует себя к ночи, главное — ночь провести». Собака лежала перед ним, смотрела ласково и внимательно и крутила хвостом.

«Так-то», — вздохнул Митрич, затягивая горло рюкзака. Собака, продолжая вилять хвостом, подползла поближе.

— Ну что, еще хочешь? — спросил ее Митрич. — Довольно, да и не похоже это на тебя...

Дальше лес делался крупнее: деревья стояли высокие, здоровые, как красавицы на подбор, легко поддерживая на себе снежное одеяние.

Третий день уже шел Митрич по следу медведя. Утром след снова повел в глубь густого сосняка. «Чтоб тебя», — разозлился Митрич, потирая ладонями обмороженные щеки. Он обошел сосняк, вошел в реденький лес, но след опять потянулся к болотам, где лес был побит бурей. «Вон ты где устроился», — снова подумал Митрич. И в самом деле, в обледенелом болоте он нашел «лапу» своего знакомца — примерно на сто метров к северу вели глубокие следы. Возле поваленных стволов на снегу валялись куски обгрызенной коры — наверное, кто-то вспугнул косматого, когда тот ел, и он снова метнулся в сосняк большими торопливыми прыжками.

В лесу начало темнеть. Воздух сделался холоднее. Издали доносился глухой треск лопающейся коры. Митрич чувствовал: колени устали, ноги отяжелели — шесть десятков лет уже болтаются по тайге. И в мелкой снежной пороше, убегающей куда-то вбок, Митрич вдруг увидел всю свою жизнь. Ему захотелось уловить самое главное, какой-то смысл, но он почувствовал, что, кроме долгого, нескончаемого непонимания, там ничего не было. Дети выросли незаметно, как птенцы у птицы, разлетелись каждый за своим хлебом, за подружкой, за

дружком. Митрич и не связывал с ними никаких надежд...

Впереди, приюхиваясь к снегу, бежал Буран. Быстрый снежный порошок плавно облетал деревья, ложился на спину собаки. Митрич потерял нить мысли, забыл, о чем только что думал. Покрытая толстым слоем снега тайга стояла молчаливая, замерзшая. Все замерло. Ни ветерка, ни шороха, только сухой неслышный шелест снежной сыпи — и в вымершем темном лесу все глубже и глубже уходит беспокойная усталая собака и тянет за собой Митрича: тащись за ней днями, по сотне верст, а кругом одна темнеющая тайга. Ночью вьюга станет злее, слепить начнет, и почудится, будто деревья хотят оторваться от корней, убраться подальше с этих проклятых мест; за снежной завесой застывает, тяжело и страшно упадет высоченная сосна, и покажется — в глубине леса кто-то живой упал.

На застывший, мертвый лес со щемящим шелестом сыплется снежная пороша. Холодно. Митрич удивленно и утешительно думает, что в этом морозном и безрадостном краю бывает и так, когда к полудню снег на солнечной стороне начинает поблескивать и по ночам покрывается тоненькой ломкой корочкой; птицы больше не ночуют в снегу; правда, медведь еще не покинул берлогу, и раскопается еще иногда совсем по-февральски вьюга, и снежные полосы еще покрывают неглубокие пологие долины, но косою все чаще наведывается в огорды и глухарь прилетает, садится на места будущих токовищ, слетает с дерева, чертит по снегу крепким крылом. Еще чуть-чуть спустя, случается, идешь по лесу километр-другой — и вдруг чувствуешь:

вспотела спина — солнце нагрело; и думаешь: капель, наверное, мешает отощавшему за зиму зверю. А однажды вдруг оглянешься, посмотришь кругом — тайга ожила, и ветви и кустарники наполнились соком, снег тает на солнечной стороне, идешь по тропе — чувствуешь запах оттаявшей, влажной земли. И думаешь: силы небесные, да где же все это было, откуда сразу столько света и тепла, и дивишься бесподобной прекрасной мощи творца. И вот тут уже окончательно утверждаешься, что жизни на земле нет конца. И душа твоя как-то по-весеннему хмелеет.

Сейчас тайга заметена снегом, в глубине ее в жестокой вьюге лопаются деревья, и ты опечаленно думаешь: вот еще у одного смертного кончается жизнь.

Митрич отвел от лица еловую ветку; рыжеватые усы смешивались у него с густой обширной бородой, и выглядывали откуда-то из-под усов толстые губы; глубоко запавшие синеватые глаза глядели из-под мохнатых бровей остро — впереди открывалась опушка, и были видны на снегу уходящие в чащу следы медведя, другие следы проходили сверху опушки, вдоль ее границы с лесом. Непонятно было, что заставило зверя передумать и свернуть из чащи обратно на опушку. Митрич понял: кто-то еще, по всей вероятности, с той стороны поляны тоже идет по следу, и, наверное, он сейчас там, в начале опушки. И его острые глаза смотрят сейчас оттуда, из-за деревьев. Митрич опустил ружье — наткнется вот так какой-нибудь сукин сын, паршивец какой-нибудь на твои следы, и три дня труда твоего, считай, пропали. А отде-

латься от такого паразита трудно; но утром Митрич проделает несколько ложных кругов по тайге, потом по своим же следам вернется обратно, и тут уж самая хитрая бестия запутается, так он, Митрич, все обделает. Но сейчас он усталый и не может припомнить все мелочи, подмеченные в тайге за последние три дня; где-то верст за двадцать от Белоглинки, возле зимнего гнезда глухаря снег был разворошен, валялись перья и мелькнули как будто искорки крови на снегу. Наверное, подумал тогда Митрич, лисица наскочила на заночевавшего в снегу глухаря. По ту сторону реки Митрич увидел следы от коротких лыж. Но тогда Митрич не задумался над всем этим. Теперь все показалось в ином свете: еще кто-то, кроме него, в тайге ходит, бороздит лес вдали от охотничьего хозяйства, поболее чем за сто верст от него.

Кругом уже совсем стемнело, на опушке снег лежал матовый, не отсвечивал, и Митрич отодвинулся в сосновый мрак поглубже. Отсюда его не видно было, но сам он мог заметить, если бы на опушке кто-нибудь появился. В полном безмолвии леса Митричу слышен малейший шорох. Так, прислонившись к березе, прикрыв глаза, голову на грудь, он мог продремать до самого света. Но ночью мороз крепчает, забирается в стволы деревьев. Митрич представил, как в утреннем холодном тумане, вытянув вперед острые морды, обгоняя друг дружку, мягко и неслышно несутся по снегу волки. Они мигом пересекают опушку, сбиваются возле высокой чернствольной сосны. А к сосне привалившись, неестественно склонив голову на грудь, стоит недвижимый густобородый человек. Вожак

волчий, осатанев от страха, прыгнет на него, клыки в мясо не вонзятся, когти скользнут по тулупу, и большущий зверюга брякнется в снег, а одереженное, негнущееся тело человека накренится и упадет боком, растянется тут же. А вспугнутая голодная стая отпрянет и, подтянув хвосты между ног, рассядется кругом, станет смотреть — на снегу длинный и прямой, как гробовая доска, лежит человек. Потом тощие и злые звери нападут на него, раздерут тулуп, остервенело отплевывая овчину, и, уткнув острые морды в брюхо человеку, недовольно закрутят головами. Невесело, черт возьми, думает Митрич. Но бывает и так: за темными стволами деревьев неслышно идет на коротких лыжах сам сатана, и неизвестно еще, что это за дьявол — сейчас он во-он там, наверное, километра не будет, он еще издали заметил маленький костер охотника и теперь крадется воровато за деревьями; вот он отвел ветви от лица и видит — на опушке темный силуэт охотника, протянувшего руки к огню. Он достает двустволку и, припав к дереву плечом, целится, метит прямо между лопаток съезжившемуся возле костра человеку. Но человек этот, оказывается, давно уже мечтал жить без усталости, покойно, и вообще — чего ради, как думаете, человек забираться, идет в чащу? И однажды человек, в холодной и угрюмой тайге стоя, вдруг видит: прошло уже шесть десятков лет, как прошли они, он и не заметил, стоит теперь, опешив, — вот тебе конец твоих земных мучений.

Кругом совсем уже темно и студено. Митрич спустил на землю рюкзак; костра разжигать не стоит: кусок сала есть солидный, черного хлеба полбу-

ханки, полбутылки водки. В рюкзаке еще есть деревянная ложка, солдатский походный котелок, алюминевая кружка, еще на войне разрисованная острием ножа. Брезент плащ-палатки застыл, одеревенел, не поддается, хоть топором руби. Холод незаметно забирается под одежду, и хоть тело еще потное, ноги и руки уже начинают замерзать. Какой-то странный шорох раздался, прошел в глубине сосняка, кончился, таинственный клубок мглы коснулся деревьев, прошелестел. Митрич напряг зрение, собака встала, потерлась о его ноги. «Холодает, — думает Митрич, а глаза совсем уже слипаются. — Со мной такого не бывает, не иначе простыл». Вот бы сейчас горячего чайку. Митрич захотел вспомнить, о чем должен был думать... крадется, наверх, мерзавец, сейчас по чаще и ждет минуты удобной. Человек куда хитрее зверя — терпением своим. Зверь не выдержит, бросится на человека, ежели задумал, и тут уж кто кого — либо он верх возьмет, либо человек. Старый медведь проснулся, стал на задние лапы, повел туда-сюда мордой, принюхался, ничего подозрительного не обнаружил, отправился по своим делам. Потом он не поленится, через некоторое время снова станет на задние лапы, снова поведет тяжелой головой с маленькими глазками — подозрительного ничего не найдет, пойдет дальше. А через некоторое время не поленится, еще раз все снова проделает — сообщает. Большой волк никогда не подойдет к падали с наветренной стороны. Но с человеком не сравнишь, конечно. Прошлой весной, в начале, Митрич вытурил из берлоги старого медведя, редкий сосновый лес был, по берегам речки — ели

строем. А позапрошлой зимой Митрич в этих местах шел за ним же от самой берлоги. Весной зверь не посмотрел человеку в лицо, но Митрич узнал его и даже что-то успел крикнуть: здорово, мол... А ко-солапый, ломая на пути ветки, сокрушая бурьян, метнулся к болотам. Не полезешь ведь за ним в болота. Митрич стал тогда и подумал: потревожил, сейчас пойдет петлять по болотам, по чаще, станет следы запутывать. Растревоженный, он ленивый бывает со сна, вряд ли станет новую берлогу себе делать. А к вечеру холод прижмет, буран поднимется, и, недовольно ворча, медведь вспомнит прошлогоднюю свою пустую берлогу, а пока, говорил про себя Митрич, погуляй себе вволю, полюбуйся на лес в последний раз. Через час уже Митрич был у прошлогодней берлоги, и сложилось так, что для старого медведя это оказалось действительно последней прогулкой. Зверюга был что надо, выше человека ростом, около тридцати пудов весил.

Справа, там, где кончалась опушка, глухо плюхнулся с дерева пласт снега, ветки вздрогнули, и Митрич услышал стон. Собака наострила уши, Митрич услышал еще какой-то скрип, непонятно уже откуда донесшийся, скрип повторился несколько раз, и Митрич понял, что это не обычные звуки тайги. Снег затрещал, хрустнули ветки, собака с лаем кинулась в темноту.

— Кто тут? — крикнул Митрич.

Собака мелькнула на поляне, потом отбежала, снова очутилась подле Митрича. Митрич навел дустволку. Ветки шевельнулись метрах в сорока, но определенного ничего не было. И Митрич стал

уговаривать себя — вот, неуклюже развалясь, пойдется медведь, несколько неожиданно проворных прыжков — и разинет пасть перед Митричем, лицо в лицо... «Напрасно я шумлю, только дело себе порчу...»

— Кто здесь? — спросил он.

Ветки качнулись опять, с них посыпался снег; Митрич стал целиться в самую середину шевелившихся ветвей. Оттуда к Митричу вдруг покатилося что-то по снегу. Буран стоял как гвоздем прибитый. Подбежавшая собака уставилась на Бурана, они вытянули друг к другу морды, и видит Митрич: идет ему навстречу человек; темная ночь, к нему идет человек, выше двух метров росту, похожий на почерневший ствол дерева, валенки тяжело топчут снег. Митрич различает двустволку за спиной и белки глаз из-под надвинутой ушанки... Эх, взять бы Митричу, спустить оба курка сразу — прямо между этих глаз, и будь что будет, лишь бы не видеть жуткой такой рожи.

— Ну, что прицелился?..

Голос человека, вышедшего из тайги, звучит глухо, кажется, вместо него говорит кто-то другой в глубине леса, усталый и сонный кто-то. Митрич видит, как глаза его закрываются от усталости.

— Что стал, убери эту штуку...

Он говорит, а Митрича все больше одолевает страх — если он сейчас пройдет мимо, значит, видение было, пришло, показалось и ушло, перекрестись, и все; но он подходит, становится прямо напротив Митрича:

— Что, старик, решил из меня мишень сделать?

Неподвижные черты лица дрогнули, и Митрич поверил, что перед ним человек, есть в нем что-то от живого.

Собаки знакомились друг с другом.

— Стоишь? — говорит человек из тайги. — Костер не хочешь разжечь?

— Думал вот, — отвечает Митрич.

Буран крутит хвостом, новая собака тоже; Буран не глупый, дело свое знает, зря не станет суетиться; он кружит вокруг дерева, находит удобное местечко и задирает ногу, а пришлая собака за ним по пятам — обнюхивает подножие дерева.

Митрич опускает ружье — обычный человек перед ним:

— Я-то думал, кто на меня идет... Не подал бы голоса, господь свидетель...

Повалили две ели, воткнули в землю колышки, ели положили между колышками, огонь развели. Митрич набрал в алюминиевый котелок снегу, приспособил над огнем. Сели друг против друга на еловые ветки возле огня, сидят. А человек из тайги как замолчал, так и молчит до сих пор. Спроси его о чем-нибудь, он подумает: «Подозреваешь, значит, меня, старик», и такого тебе про себя наплетет, что сам черт не разберет, где тут правда, где вранье. Он откинул тулуп, сидит в черном свитере, плечи у свитера свисают. Смотришь на него со спины, поражаешься: плечи, спина — заглядение, силища, а лицо другое, лицо помятое, видно, человек давно устал, стареет. Задремал, думает Митрич. Но тот спрашивает неожиданно:

— Изучаешь?

— Давно в лесу? — спрашивает у него Митрич.

— Давно.

Митрич думает: в свое время этот человек мог одним ударом позвоночник медведю повредить, а тайга вот сама ободрала его, обтрусилась... Бывает.

— Долго шел?

Тот не отвечает, дремлет. Костер потрескивает, дымит, греет, освещает ему лицо то красноватым отблеском, то желтовато-блеклым.

— Ты, понятно, не из этих краев, — говорит Митрич.

Тот молчит. Проживешь с таким годы долгие и ничего о нем не будешь знать. Потому что такому человеку тошно вспоминать свое прошлое, и физиономия у него от этого всегда кислая, ясно.

Через два дня Митрич придет в свою деревушку, скинет обувь, ляжет на теплую печку, а тут кто-то в окно стукнет — бог ты мой, кто бы это мог быть, подумает Митрич. Кто же еще — Терентий Афанасьич — тяжело пройдет в избу. «Проходи, пожалуйста», — скажет Митрич. Николавна примет у него тулуп. «Морозно на улице, Марта Николавна, — скажет Афанасьич, потирая ладони. — В такую пору и черти по домам прячутся». Сядут к столу, и Митрич расскажет: «Так-то и так-то, Терентий Афанасьич, думаю, зверь какой или леший сам, а страху во мне ну несколько; только смотрю, Буран себя что-то слишком спокойно держит, а он, знаешь ведь, умный, бестия, и вот тут-то мне нехорошо сделалось на душе; ну, думаю, Митрич, и свинца на тебя не понадобится, так умрешь... и такой тут меня страх забрал, Терентий Афанасьич, смерть я свою почувал...»

— А и напугал ты меня, — говорит Митрич.

— А ты что, — говорит человек из тайги, — по следу идешь или так просто гуляешь?

— Тайга не прежняя, — отвечает Митрич, — человеческих следов в ней сейчас больше.

На костер летит снег, легкий ветерок уносит его в сторону, и Митричу чудится, будто и лицо у человека уносится куда-то в сторону.

— Картофель у меня здесь засеян, — говорит тот наконец, — капуста кочан, изба стоит — кое-как держится, живу тут, случается, в лес выхожу.

— Так, — в сомнении кашляет Митрич и думает: чего это он ни с того ни с сего заговорил про свое, но тут же, все сообразив, ругает себя: хрыч ты старый, человек понял, что подозревают его, стал на ложный след наводить, поди теперь истину разгадай.

Митрич глянул тайком — человек устало смотрел на огонь. Стреляный воробей, подумал Митрич, терпением обладает, раньше, наверное, шибко нетерпеливый был, да поплатился за то, теперь вон какой выдержанный.

— Говоришь, не за зверем идешь, старик?

Чего это он все про одно спрашивает — Митрич глянул на него: из-под тяжелой переносицы жутко глядели на него глаза. Ишь, как смотрит, подумал Митрич, смешавшись, и понял, что в этом человеке еще много силы — вон возьмет своей лапой лицо твое да к дереву прижмет, к стволу — звука не успеешь проронить. Прошлым годом в охотничьем домике, за пятьдесят восемь верст от лесничества, мертвого Матвея Мироныча нашли — сзади ударили, под левую лопатку, нечестно. Пролежал Матвей Мироныч в домике недели две, пока люди

не нашли, окна и двери закрытые были — зверь не тронул его, не добрался. Пошел человек в лес — и нет его, пропал. Встретился, верно, разбойник, Миронич не разглядел, наверное, как следует, разговори́лся. А Матвей, надо сказать, одинокий был человек, без жены, без детей, видно, сказал мерзавцу про деньги что-нибудь, сболтнул, тот его и порешил в минуту... Денег при Мирониче не нашли ни гроша, сила нечистая раздела, говорят, человека донага, так и лежал... И тут Митричу захотелось поговорить с человеком из тайги вот о чем: пройди, сказать ему, по тайге день, неделю, месяц, конца не увидишь, земли и богатства в ней неисчислимо — целый свет можно прокормить, и как тут не подумать: с чего бы это, человеке, бог взял у тебя клыки и на месте их человеческие зубы поставил, разум человеку дал, сознание. А медведю, вишь, клыки его оставил, потому как медведь зверь. Господь заботлив, он создал тайгу богатую, сказал: сукин ты сын, человек, вот тебе тайга, промышляй в ней, зверя лови, птицу, скотину держи и живи мирно, а на подобного себе руку не подымай. Великий завет, великий... И что же получается — сам создатель ошибся... прости помилуй, господи...

Снег блестит красно возле костра, дальше одна туманная мгла. Костер дымит, с трудом отгоняет мглу, и зигзагами поднимающиеся в воздух искры быстро гаснут. Вместе с мраком с четырех сторон подступает холод, забирается под тулуп, покалывает у колен. Возле огня чуть полегче, оба они почти прижались к костру.

В котелке забулькала вода. Митрич подтянул рюкзак, достал сахар, сало. Незнакомец положил

на брезент головку лука, вяленую воблу. Ели молча, отдуваясь, тянули чай, и Митрич думал: шесть десятков лет проболтался по таежным болотам, скоро на восьмой перевалит десяток, а ты, старая кляча, все еще дорого ценишь свою жизнь, а она гроша ломаного не стоит, совсем мало ведь тебе осталось, года два либо протянешь, либо нет, а ты все торопишься куда-то... Так обманутый и престаившись однажды. А там уж спокойная жизнь уготована, слава богу, не станешь того отрицать. Деревья умнее, стоят на одном месте, спокойно ждут конца.

— Плевать, — сказал он.

— На что? — спросил пришелец.

— Да на все.

— Холодно.

— У меня, того, белая головка имеется.

Митрич достал бутылку. Наполнил до половины кружку. Пришелец оживился, сел поудобнее, взял в руку кружку, ладонью прикрыл ее, словно в ней тепло большое было и могло уйти. И Митрич в его продолговатом, склоненном лице заметил что-то приятное, как будто человек усмехался про себя: мол, вон ты какая у меня, судьба, припрятала мне подарок, такую заботу обо мне понесла. Если пожелает господь, Митрич через три дня и три ночи будет у себя дома, сядет против Терентия Афанасьича, к теплой печи спиной, Николавна, как положено, поднесет водочки, соленого огурчика. Митрич нальет Афанасьичу и поведет рассказ, а тот, бывалый человек, удивится, да как еще: «О чем же ты думал-то, — скажет, — да ведь он тебя в одну минуту после той водки порешить мог, такой человек...»

Митрич спокойно смотрит, как незнакомый, подержав водку за плотно сомкнутыми губами, закрыв глаза, неторопливо глотает ее. Митрич наливал себе немногим меньше половины кружки; человек сидит, далеко выставив колени, водит воблой перед глазами, сильными пальцами отрывает кусочки, ест. Смотрит кругом беспокойным взглядом, не находит ничего и снова таращится на воблину в руках. Митричу кажется, он этими крепкими пальцами может разодрать все, что под руку попадется, только бы насытить себя. Иногда он взглядывает на Митрича из-за костра и, наверное, думает: старик смиренно сидит, вреда от него не будет, следовательно.

— Хитрый ты, — говорит незнакомец.

— То есть как это? — спрашивает Митрич.

— Да так, думаю себе вслух.

Он долго смотрит затуманенными глазами, что-бы разглядеть костяк воблы в руках, и Митрич думает: как же ты ослабел, эк тебя развезло...

— Пропаций я человек, — говорит незнакомец, не поднимая головы, словно угадав жалостливый взгляд Митрича. — Как так? — говорит он, не дожидаясь вопроса. — Пристукнул я человека, давно еще... двадцать лет, немалый срок, а? Отсидишь столько — неизвестно еще, живой будешь или нет, ясно? — Он разводит руками: мол, двадцать-то двадцать, а я вон сижу перед тобой, по тайге свободно разгуливаю, понял теперь?..

— Как дело-то было? — спрашивает Митрич.

— Да выпили вместе, хорошо выпили, а ночью я встал по нужде, смотрю, он с моей бабой...

Он не подбирал слов, видно, отвык, уставал от

этого. О чем с таким говорить еще? В прошлом году из ссылки Ленька Никаноров вернулся, одно слово все повторял — «этап». «Этап, — говорил он и никак в себя не мог прийти, головой мотал, губы сжимал, — тебя там за человека не считают, арестант ты, и все», — говорил. И рассказывал: были люди, убегали, только куда, спрашивается, на тысячи километров кругом тундра, ежели набредешь, заплутав, на колонию обратно, считай, повезло, а то замерзали под снегом. Леньке еще подфартило, в больнице работал, а там молоко давали каждый день. «То и помогло, — вдруг говорит он, словно теперь только поняв, что ему там помогло, — молоко спасло, вот что, а то захоронили бы меня очень скоро, а в той земле кости, мерзлые, держутся по сто лет, не проклятье разве...» Ленька говорит, а ты хочешь на другое перевести разговор, сердце у тебя как-то нехорошо сжимается, словно в дурном предчувствии, а он все о своем, о своем, да и о чем ему еще говорить — прожил одну, такую вот жизнь, теперь, глядишь, дело к старости пошло — о том только и может говорить, что было. И ты видишь вдруг, что в душе его ничего, кроме этого, нет. А чем, спрашивается, плохо — в мерзлой земле лежать?

Понятное дело, думает Митрич, навидался людей... в тех краях люди себя с другой стороны кажут. Не любезничали, видно, с ним, гнали по снегу, а снег по горло. «Ах, не нравится тебе?! Так и растак тебя, не нравится ему!..» Он нашего брата, человека, хорошо изучил, думает Митрич, еще бы.

Да, было в Белоглинке такое дело — вернулся из ссылки бывший вор Ленька Никаноров. Вернул-

ся в деревню, а от него, считай, ничего не осталось. Человек на золотых приисках одиннадцать, так сказать, лет провел, да до этого отсидел три года, ну, а того раньше — тайгу одну и видел... После войны дело было, бабы в деревне одна лучше другой были, просватали за него самую лучшую, Ольгу, не женщина была — чудо. Но поди ж ты, почерневший, ростом поменьшавший человек злой оказался — бил ее нещадно, напивался и бил, — выбегала как есть на улицу, ночью раздавался ее крик с улицы, люди головой качали... А отец Серафим — вот старик был, в девяносто два года, как молодой, пил, — отец Серафим говорил: «Что он, кроме зла, видел? Одно зло и видел, более ничего...»

— Э, брат, — говорит Митрич.

Никакое слово не поможет уже такому человеку, не изгнать из него его злости, для этого надо жизнь сначала прожить, да разве возможно такое... ни за какие деньги этого не возьмешь, не купишь... И Митрич чувствует: очень даже могло случиться, чтобы этот человек повалил его на землю, придавил бы горло коленом, «подыхай, — сказал бы, — все вы того стоите». Но погоди, думает Митрич, нельзя же всех на один аршин, надо же черное от белого отличать...

А человек молчит снова. Водка вывернула его всего наизнанку, но всего-то, оказалось, мало было, вон как. И лучше не смотреть на него — заметит, скажет: «Изучаешь, старик?» Но сам он смотрит, смотрит исподлобья красными, воспаленными глазами, не мигая. Кажется, только и живого в нем — эти страшные глаза, уставились в одну точку на

твоим лице, а точка эта, видно, помещается прямо в глазах твоих, туда и смотрит. Все в нем замерло — и плечи, и ноги, и тяжелые руки, — все спит для того, чтобы не спали зававшие, глубоко посаженные глаза.

— Молчишь, — говорит ему Митрич.

— Да нет, не задумался я, ошибаешься, — качает головой человек.

Одинок ты, наверное, догадывается Митрич, еще как одинок, друга у тебя, по всему видать, нет, да и жены, наверное... Какая жена станет с таким жить, уж лучше с пнем... Хорошо, если он однажды не вздумает свернуть ей шею...

— А тулуп у тебя ничего, — говорит человек, не глядя на Митрича.

Митрич видит его озабоченный взгляд, куда-то в сторону направленный. «Чтоб тебе пусто было, — думает Митрич, — с кем меня господь свел».

— Одно время и впрямь был хороший, — говорит Митрич, — сын из Омска привез, триста, не то четыреста заплатил, не помню, да старый стал, только кажется новым... изнутри разодран весь.

Митричу хочется понравиться этому человеку, приглянуться ему чем-то. Черт возьми, человек ведь как-никак, хорошее в нем осталось, наверное, хоть сколько-нибудь...

— Сам-то здешний? — спрашивает Митрич.

Человек кивает.

— И я здешний, — говорит Митрич. — Потомственный сибиряк.

Стелющееся по головешкам пламя не грело больше, казалось, надо взять в руки уголья, чтобы хоть немного согреться.

— В японскую я совсем малым еще был, — рассказывает Митрич. — В войне девятьсот сорок первого участвовал — как дошли до линии фронта, переворот произошел. Сказано было всем: расходитесь по своим домам, Советскую власть у себя устанавливайте. Так, в шинели, с винтовкой в руках, и вернулся... А Чапаева я видел. Своими глазами видел. Храбрый был воин... Одно время в Омске Колчак был главный, Советы его прогнали... Да, домой пришел, смотрю, все на слом идет, на развал, мать помирает, совсем плохо сделалась, сестры босые, голодные. Бросил винтовку в угол, хозяйством занялся. Так и не заметил, как новые порядки установились...

— Так, — говорит незнакомый, — никого не утруждал, значит, все сам делал.

— Да как тебе сказать, — отвечает Митрич, — случая не было.

Ветер утих, лес стоит успокоившийся, мелкий снег плавно опускается, ложится кругом, костер шипит чуть слышно, потрескивает. Сидеть бы так, подставив руки и колени огню, закрыв глаза, — сонные мысли начнут находить, легкие сны за ними пойдут...

— А я, — говорит неожиданно человек, — вот о чем думаю: повстречайся, думаю, старику косолапый, что он станет делать...

О чем это он? Три дня уже идет Митрич по тайге и ждет — вот сейчас Буран с протяжным сухим лаем бросится в чащу, Митрич подбежит ближе, растревоженный зверь вывалится из темнеющей дыры берложей, Буран отскочит, налетит на

медведя сзади, медведь на задних лапах повернется отцепить Бурана, кинется на него, а тут Митрич спустит курок, другой, медведю под лопатку вцепит, и огромная туша повалится на снег.

— О чем это ты? — спрашивает Митрич.

— Стар ты, — говорит человек, — да и собака у тебя не та.

— Собака хороша, — говорит Митрич, — и на медведя злая. Пусть только встретится.

— Не встречался еще?

— Господь свидетель, — говорит Митрич. —

А собака умная, понимающая. Особенно на медведя зла. Прошлой весной я с ней по верхам Белоглинки пошел, летом болота там, шагу не ступишь, а уж гнуса сколько — живьем загрызут. Убил я сначала одного тетерева, потом второго, а Буран в этом деле не очень привычный, так что я ему не очень и доверял. Иду по болоту, смотрю под ноги, подтаивать уже начинает, осторожность требуется. Вдруг этот-то, Буран, к сосне подбегает, морду кверху, да как залает и по дереву когтями, когтями. Смотрю, на макушке дерева глухарь покачивается, головой по сторонам водит, поблескивает, переливается. Чего ждать — пальнул. Да не упал он, полетел, раненный, к болотам, там и шлепнулся в воду. Бегаем с Бураном туда-сюда, в болото опасаемся ступить; что делать, так и оставили его там. Неплохую охоту сделали в тот день. К вечеру говорю Бурану: пора домой, темнеет, едва поспеет, старуха беспокоиться станет зазря. Только Буран мой с места не двигается, будто не ему говорят, головы даже не повернет. Сел и смотрит на тетерева подбитого в болоте. Я его за ошейник, а он на меня

рычит; ну, говорю, черт паршивый, ухажу я, а ты оставайся. А он как сорвется — да к болотам. А я ругаю его почему зря и домой поворачиваю... Да ты слушаешь меня? — спрашивает Митрич.

Человек еще ближе придвигается к огню, Митричу кажется, он все тепло костра себе забрал, глаза у него мелкие, неподвижные, с каким-то неестественным выражением. Митрич чувствует, какая жестокая к нему была жизнь, как трудно ему живется, и другой жизни он ведь и не ждет, привык к своей. Его и не уговоришь, что другая есть жизнь, ему легче не чувствовать ничего, самое выгодное сейчас в его положении — ничего не чувствовать.

— Да-а-а... — вздохнул Митрич. — Ночью, слышишь, старуха будит меня, глянь-ка, говорит, Митрич, что это за леший в окне. А окно инеем покрыто, замерзло, и кто-то скребется по окну с улицы. «Кто здесь?» — кричу, беру ружье, дверь самую малость открываю, — черт бы вот уж истинно сукиного сына побрал, стоит, в зубах чего-то держит и скулит жалобно. Смотрю: в зубах тетерев, без одного крыла и ножек. Ночь, понимаешь, болото-то льдом покрылось, крыло и ножки оторвались, остались там. А вообще он на медведя мастер...

Незнакомец молчал. Постоянная, годами не проходящая сумрачность пропитала его, казалось, насквозь. Спроси, о чем он думает. А ни о чем. Вообще не думает. И правильно делает, мерзавец, тут и думать-то не надо. Так-то, без единой мысли в голове, он может просидеть день целый, может кружить по тайге неделю, с тем только для себя усло-

вием, что в один из дней будет держать в руках что-то и сильными пальцами будет раздирать это что-то, потом размалывать могучими челюстями. И только телом, только плотью будет нести, только на шкуре своей испытает всю эту горечь бытия, но не душой, не душой. Потому что душу он изгнал, уничтожил, свел на нет, как совершенно лишнее и обременительное. У него по вискам, по лбу иногда пробегают тонкие блики от костра, и кажется, еле помещаясь в его мозгу, то и дело мелькает у него мысль: «Волчьи отродья, загубили мне жизнь... загубили меня...» Как же не быть ему злым?

— Сколько твое ружье стоит? — спрашивает он.

— Старое, — говорит Митрич, — на свалку пора его. Да думаю, и мне немного осталось, так что продержит оно меня.

— С надписью? — спрашивает этот тип, оживляясь. — Дарственное оружие в большой цене.

— Сейчас оружия много, — говорит Митрич, перекладывая двустволку на колени. — Всякого. И недорого стоит, копейки.

— Оружие всегда в цене, — стоит на своем незнакомец. — Дети есть? — интересуется он.

— Четыре девочки, сын, — отвечает Митрич. — Толку-то все равно никакого. Есть дети.

— Старуха жива?..

— Жива...

И Митрич представил, как Николавна ждет его, шаль на плечи набросила, в валенках, на длинной скамье возле печи сидит, а на полке чисто вымытая посуда, и потом Николавна расскажет ему,

как ночью без него плохие сны видела. «И жду, жду, жду, господи, что там с ним стряслось, думаю, стук какой услышу — сейчас, думаю, встанет на порожке, объявится...»

— Старуха, да... неплохая баба, хочу сказать — душа у нее добрая, зла никому вовеки не сделала, характером тихая. А так ничего не видела, кроме меня и тайги этой, так и состарилась...

Теперь ему все известно, все на его совести теперь, да где же у такого совесть, она ему сроду не дадена была. Только нет, что-то для него неясно еще, куда это он смотрит? А, на рюкзак, конечно, спросить собирается о чем-то.

— А тут что у тебя?

— Ласочья шкурка, — говорит Митрич, — да две беличьи. А на след медвежий так и не набрел.

— Давно из дому?

А Митричу невдомек, почему он так спрашивает. И отвечает Митрич наивно:

— Значит, сегодня четвертые сутки пошли.

Дурак ты дурак, да ты на его рожу пакостную погляди, сразу увидишь, что это за продукт, — значит, подозревай любую мелочь в нем, даже чихнет — подумай, с чего это, и прежде чем на вопросы ему отвечать, раскинь мозгами, рассуди что к чему. И сейчас вон спрашивает, чтобы понять, как далеко Митрич от своего села ушел, не понятно разве?

— Болтаюсь себе, — сказал Митрич, — не больше семи верст в день делаю, в ногах прежней силы нету. Тут недалеко село Климово, тамошние охотники здесь частенько прохаживают, я было подумал, и ты оттуда.

В темном лесу делается холоднее, опять начи-

нает дуть несильный колючий ветер, он уносит из тебя все тепло, и кажется, будто спина у тебя не прикрытая ничем... А эта личность сидит возле огня, отодвинулась в тень, прикидывает про себя, темное дело замышляет.

— Насчет зверя... бог свидетель... — говорит Митрич.

— Верю, старик.

Потом этот тип встает и к лесу направляется.

— Ты куда? — спрашивает Митрич.

— Нужда у меня, сейчас вернусь.

— А это, оно заряжено?

— Ружье? Нет.

Вернулся, сел на еловые ветки, колени полами тулупа прикрыл и говорит:

— Там речка есть, идем в ту сторону — в пяти километрах от речки охотничий домик стоит, пошли туда.

— Не стоит, уже за полночь, поди, перевалило, полешки прогорят всю ночь, — Митрич говорит и боится тому в лицо посмотреть, ну и рожа, и рожа же, щеки висят, подбородок тяжелый и длинный, лоб низкий, тоже тяжелый, и все, кажется Митричу, держится на маленьких страшных глазах, даже лоб, вон до чего дело дошло. Митрич читает в этих глазах неприкрытое желание отправить сидящего перед ним старика, Митрича то есть, ко всем странствующим в вечности душам...

— А в бога веруешь? — спрашивает сильным голосом человек.

— Человек во что-нибудь непременно должен верить, — отвечает Митрич, — а то ни перед чем

у него страха не будет, а такой человек, дьявол его разрази, чего-чего не может натворить.

И тут Митрич вспомнил весьма поучительную историю, прямо к случаю, и рассказал ее. Он рассказывал, а тот вроде и не слышал его, собака, думал, наверное, про себя, — ты плети, плети, старик, пока есть время, а вообще-то песенка твоя, считай, спета.

— Жил у нас в деревне Терентий Афанасьич, бывалый человек, по свету много его носило, по белу. А у него способность такая была — как взглянет человеку в глаза, сразу видит, о чем тот задумался. И другой был, Зубов, сволочь последняя, все про то знали. Отправились как-то они вместе в тайгу... Снег только стаял в ней... стоит, что тебе невеста молоденькая, тайга, от радости петь хочется... А Зубову до тайги и перемен в ней всяких, глазу приятных, дела нет, задумал он против Терентия дурное... Доходят они до реки Кувшинки, а река ото льда освободилась, трава на берегу растет зеленая... только-только пробивается...

Пришелец вроде заскучал от слов Митрича, видно, устал, неинтересно уже было все ему; он, видно, только и мог теперь тьму от света отличить да смотреть на огонь безотрывно.

— А Терентий-то Афанасьич, надо сказать, и добрый был, миролюбивый, признавайся, говорит, Зубов, недоброе ты что-то задумал, признайся, и господь тебя простит, молиться буду, чтоб простил тебе создатель грех такой...

Митрич глянул на этого. «А и страшное же у тебя мурло», — подумал; еще Митрич заметил, что тот не вникает в его рассказ нисколько.

И Митрич повысил голос, певуче и громко рассказывал дальше:

— «Ладно, — согласился Зубов, — не сделаю тебе ничего, только в деревню тоже больше не зайду, потому злопамятный ты, знаю, не простишь». Но Терентий Афанасьич снова божится, обещает ему молчать. Он-то сдержал свое слово. Только Зубов все равно с людьми жить не мог, ушел как-то в тайгу да так там и остался...

Человек с закрытыми глазами, освещенный костром, казался бездыханным, лицо у него было синеватое, местами изжелта-зеленое, и был он страшен до черта, хоть и сидел себе тихо...

— Вот как, — заключает Митрич, — медведь, рысь, волк не уживаются с человеком, потому что душа у них злая сильно, а олень, косуля, лось сами от человека бегут, потому что тут уж человек против них злее оказывается... Вот тебе и весь закон природы...

Человек открыл и снова медленно прикрыл затуманенные глаза, он хотел вроде сказать что-то, губы у него шевельнулись беззвучно, он тяжело уронил на грудь голову. Захрапел... Пороша замечает ему тулуп, ушанку, плечи. Чем больше думаешь о холоде, тем он ощутимее делается, не надо, значит, думать. Ладно уж, пусть себе расходится вьюга, ничего не сделается, все равно это. Дал бы бог безбедно ночь провести, домой живым вернуться, а уж дома — дома Митрич парного молока выпьет, свеженького, полезет на печь, и зайвится — тут как тут — Терентий Афанасьич. Митрич нальет ему в граненый стакан водочки, подвинет к нему и расскажет, что в тайге приключилось... Костер отходит

куда-то в сторону, отодвигается, Митрич различает, как шипят бревна... Против огня сидит человек, склонившись, в неудобной позе, спит.

Митрич пошевелился немного, почувствовал, как трудно размыкаются глаза, словно тьма сама наслеза на веки, и заметным усилием воли заставил себя снова различить человека по ту сторону костра. Свет костра слабый, словно перемешался с мглой. И половины ночи не прошло, думает Митрич, а спать ни в коем случае нельзя. Надо про приятное думать... Нальет, значит, Митрич, подвинет к Терентию Афанасьичу граненый стакан, печь теплая в комнате будет, тепло от нее будет... Костер снова смыло, он замаячил вдаль, потом опять приблизился, совсем большим стал, все собою заслонил... Из-за красноватой его завесы слышался голос человека: «Не спишь?» Митрич увидел: из-под засыпанной снегом шапки неотрывно смотрят на него матовые страшные белки, и понял Митрич, что выносливость у этого человека беспримерно могучая. «Ну, дьявол, дьявол, и все», — подумал Митрич и закрыл глаза — хуже лица этого ничего уже не могло быть. Вот он тянется тяжелой ручищей к лицу Митрича, противиться этой руке с широкой ладонью бесполезно, он приложит ладонь ко лбу Митрича, пригнет ему голову, и Митрич услышит хруст ломающихся позвонков. Митрич невольно напрягает шею, ждет с закрытыми глазами.

— Не спишь? — раздается вблизи.

— Стариковская бессонница, — говорит Митрич, не открывая глаз, — кажется, будто сплю, а я хоть бы на минуту вздремнул...

Он почувствовал, как человек встал, идет к нему, потом что-то шумно опустилось рядом. Митрич крепче сомкнул веки, подбородком ткнулся в грудь, и вдруг все стало мирно, улеглось. Человек сидел перед ним, кутаясь в тулуп, лица не видать было. Заснул, должно быть. Тайга шумела кругом мерно и глухо. Вьюга густела, как туман, забирала все больше и больше пространства, круче делалась. Огонь тускло лизал дымящиеся сырые бревна, возле костра на снегу свернулись собаки, спина к спине, попрятав морды между лап. Обнюхали друг друга, проносится у Митрича в голове, сообразили, что тайга большая, не делить им ее между собой, значит, и причин к вражде нет.

Митричу спать хочется до смерти, даже мертвецам он в эту минуту завидует, лежат себе в земле, распластавшись, и ни забот тебе, ни тревожных, покой один и безмолвие нерушимое, как тут не позавидовать. И хочется спросить этого человека: скажи на милость, на что нам такая жизнь сдалась, нервотрепка одна, больше ничего. Покойникам вон и то завидуем, сами только помирать не хотим, боимся, наверное. Верно говорю, господь знал, что делал, — человека робким создал, трусливым — и это жизнь называется? Да плевал я на такую жизнь, спать хочу до смерти — боюсь. Спать и то не можем, когда хотим, да на что она, такая жизнь?! Так, наплевавшись немного и осмелев, Митрич открывает глаза — во сне этот прохвост довольным отчего-то кажется. Митрич вдруг видит: такому человеку что ни скажи — все поймет, и не надо думать, будто он сам никогда ни о чем не думает. Просто ему рассказывать про себя

нечего, однообразные дни в тюрьме... Митрич и сам уже устал от мыслей, от всего уже устал. «Плевать, — сказал он про себя, — плевать», — повторил и закрыл глаза. Как долго он спал — неизвестно, только спал он — и это точно — глубоким, спокойным сном, чувствуя во сне, как все кругом надежно и тепло. Он протер глаза: «Господи, — испугался, — сплю ведь». Огляделся — видит: сидит человек возле костра на корточках, глаза озорно смотрят, бесенята в них так и прыгают, ну нахал, думает Митрич, смотрит-то как. Митричу чудится, сейчас он скажет: «Эх, старик, старик, и не стыдно тебе, не совестно, каких-нибудь два годочка жизни осталось, трясешься как, да спи ты себе, закрой глаза и спи...» Ночь стоит, неясная, снежная, безмолвная и холодная. Митрич думает: прошло порядочно времени, еще немного, и вверху забрезжит рассвет, обозначатся силуэты деревьев, вьюга уляжется. Но пока еще глубокая ночь, и мрак и мгла тяжело держатся тут же, не думают уступать. Дома сейчас тепло и удобно. Митрич видит, как он подвигает к Терентию Афанасьичу граненый стакан: «Его растаптывают, с землей там равняют, мешают с грязью, хуже, чем с зверем, обращаются и по матушке все кроют». Расскажет он Афанасьичу все про этого человека, с места ему не сойти, ежели не расскажет...

Незнакомец сидит у костра хмурый, словно осенняя тайга, следит, как огонь медленно обвивает бревно, нагревает его, шипит, обугливает, в голешку превращает — и вдруг неожиданно совсем занимается пламя, вспыхивает. Такое терпение снова наводит страх на Митрича.

— Как хочешь думай, а жизнь для всех людей одна, пустая, — говорит Митрич.

Тот и бровью не повел. Митрич подумал: он так может сидеть нескончаемо. Сколько угодно просидит и в конце все равно своего добьется. Митрич видит уже совсем ясно, сколько в нем силы и упорства. Он в конце все равно сделает, что задумал, терять-то ему нечего, и так все давным-давно потеряно. Как стукнет по черепушке — другого от него не жди. Митрич даже не знает — любоваться им или же бояться его, все до того запуталось. Митричу хочется рассказать ему: «Иду вчера по тайге, мороз лютей, воздух, как ножом острым, проходит по легким, никакой зверь в такую погоду не покинет норы...» Митрич слышит поскрипыванье снега, теплый дом далеко остался, и ты все глубже уходишь в покрытую синеватым снегом тайгу, жильем тут и не пахнет, и ты знаешь — вдали, куда, тебе кажется, ты непременно доберешься, за деревьями прячется красное зарево — дойди до этих мест, подставь пальцы, лицо, плечи, всего себя солнцу. Но для этого надо сменить ноги и идти, а ноги отяжелели, не слушаются тебя, и торчит перед самыми твоими глазами этот верзила. И никуда не уйти от него Митричу. Вот он снова заслонил собой костер — снова похолодало. Холод проникает под одежду Митрича, скользит между лопаток, перед глазами темнеет... «Помилуй господи, — ясно сознает Митрич, — засыпаю...» И видит Митрич, в избе старуха стала на колени в углу, хочет ему что-то сказать, показывает на что-то рукой, а Митрич ее не понимает. Митрич на огонь смотрит — и видит: поднимается пламя над костром

высокое-высокое, а над пламенем человек этот машет-размахивает руками, из печи черный дым валит, стены у избы все почернели, видит Митрич — у дверей, крадучись, ходит Терентий Афанасьич, наклоняется, берет топор в руки, а спрятаться от него некуда. Афанасьич заходит за огонь, заслоняет его собой, становится перед Митричем широкоплечий, ладный... и обеими руками заносит топор, и Митрич понимает, что хотела сказать ему Николавна и от какой напасти лицо ее так бледно было.

На маленьком оттаявшем пяточке дымятся голешки. Митрич чувствует: если сейчас он не встанет, не начнет двигаться, больше никогда он не встанет и не сможет двигаться. Спина и ноги одеревенели, не разгибаются. Чуть поодаль, спрятав руки под мышками, ходит по хрустящему снегу незнакомый охотник.

— Заморозил ты меня, старик, — говорит он, — а сам храпел, будто со старухой своей спал рядышком. Кость, видно, крепкая...

На опушке резвились Буран и другая собака. Человек на самом деле был и высокий и сильный.

— Гляди, старик, — говорит он, — три дня назад от Белоглинки погнал я к болотам медведя, из берлоги выставил, собаку мне он помял, сам в болота сиганул. Думаю, не стоит за ним в болота заходить, хотел было уже повернуть обратно, а тут смотрю — следы: еще кто-то идет за зверем, потом гляжу — ты это.

— Медведь твой, что и говорить, — соглашается Митрич.

— При чем тут медведь, — говорит незнакомый охотник, — зверь со сна злой бывает, может, думаю, задеть старика. Повернул лыжи, бегу за тобой. А ты быстро идешь, не угонишься...

В тайге рассветает.

И Митрич думает, что еще можно двигаться и ходить, можно подхватить ружье и пойти за медведем, три дня на которого потрачены. Он еще по многим следам пойдет. И в тайгу еще не раз отправится.

Вот и рассвет, думает Митрич, и вспоминает, как мучительно и долго ждал этого рассвета, вот и утро занялось, думает.

— Тут тайга бурей побита, — говорит Митрич, — в полдень доберемся, не думаю, чтобы он далеко ушел.

В тайге светлело, туман рассеивался, день ясным-ясным делался, ожидался действительно удачный день для охоты.

ОБ АВТОРЕ

СПОКОЙНАЯ ПРОЗА КАМАРИ ТОНОЯНА

Случайно встретившись — раз или два в году — с этим бывшим студентом института физической культуры, с прозаиком Камари Тонояном, капли в рот не берущим, не курящим и не болящим, сажающимся каждый божий день за письменный стол, этим стойким во всех своих (в том числе и литературных) убеждениях человеком, я взглядываю на себя, я оглядываю себя, и я себе не нравлюсь. Мне кажется, мой новый костюм плохо сидит на мне или же я совершил какой-то проступок, не подумав, что это плохой поступок, думая даже, что это хороший поступок. Это означает, что смутное, неясное беспокойство шевельнулось во мне не напрасно. Это означает, что я написал сценарий, для того чтобы увидеть свое имя большими буквами на экране, это означает, что я месяц уже не брал пера, а за себя должен писать только я сам, это означает, что я пустился сравнивать женские бедра с лирой и снова не обошелся без тополей, луны, всяческих эпитетов и целого полка — пусть метких, но сравнений, это означает: я раскрасил вещь, для того чтобы за ложным блеском красок спрятать ненадежную хрупкость материала. Так каждый раз я даю себе обещание заниматься не «разрезанием торта», а добросовестно «долбить камень», серьезно и без поблажек

собственным слабостям. Но каждый раз перо, ударившись о каменную суть материала, отскакивает и падает в шелест тополей, в стриптиз, в — увы! — ущербное ритмическое описание всяких ослепительных историй. Впрочем, мое перо часто обманывает и меня самого, но когда-нибудь я взгляну на все, прозрею, и не поверю в поблескивающую сияющую прозу сравнений и красочных описаний; я увижу, что путь истинной прозы — это путь лишенных блеска ровных повествований Камари Тонояна, где дерево есть дерево без всяких эпитетов, где приставучая грязь действительно та самая приставучая грязь — настолько, что ты чувствуешь, как трудно идти через нее, и где туман стелется не как разбредшееся стадо овец, а просто как туман, сыростью и холодом касаясь твоей щеки, забираясь в одежду, пропитывая ее.

Что делали в старину армянские зодчие — они прорезали окна, воздвигали колонны и украшали резьбой и скульптурой западную, южную и восточную стены храмов, а теневую, холодную, северную сторону делали глухой. И чтобы эта глухая — или слепая, как хотите, — стена не была совсем уж слепой, в ней делали слепое окно, и это окно было единственным украшением всей глухой поверхности.

Что делаем мы (я не хочу оставаться один под градом собственных обвинений). Мы глухую стену украшаем множеством фальшивых колоннад, множеством фальшивых окон и прочими бесчисленными узорами, будто под рукой у нас не камень, а расплавленный шоколад.

Что делает Камари Тоноян — он не боится не поставить и этого единственного слепого окна — это вам северная сторона, это холодная и теневая сторона, она не для окна, окну тут делать нечего — точка.

Тонояну незачем искать прикрытия из украшательств — он рассказывает правду. Его голос негромок, потому что рассказывает он больше себе и суть явлений пытается вскрыть

прежде всего для себя. Ему нет нужды собирать слушателей — декламация ему чужда. Взгляд у него углубленный, а не восторженный, потому что, склонив голову, он знает делает свое дело — как пахарь за плугом, а не как тот охотник, который похвастается, что двух медведей уложил, волчью стаю и десяток зайцев истребил, не считая дюжины куропаток.

Уже долгое время Камари Тоноян пишет трудный большой роман, где много судеб, много характеров, много путей и перекрещений; в искусстве создания национальных образов его прозу без опасения можно сравнивать с лучшими образцами современной русской, грузинской, узбекской прозы. Он понимает, что во всех случаях наша «сумбурная» жизнь — единственная реальность, о которой стоит писать, и нужно обладать его мужественной, стойкой совестью художника, чтобы не отступаться и брать жизнь именно в ее сложности.

Его победа будет достойная победа, а если он потерпит поражение, это не будет позорным поражением.

Армянской литературе известна и мера его таланта и его постоянная способность улавливать самые тонкие движения внутреннего мира человека. Скажу больше — его имя в дежурных списках и отчетах о молодежной литературе встречается часто, но часто и нет: пишут многие, можно сказать, все, так что не трудно посреди общего фейерверка потерять его спокойный огонь. Но вот поди же — его проза сегодня — для нас, армян, особенно — долгожданная литература и еще одним своим качеством. Я имею в виду ее неразбавленную эпичность. Это если не единственный, то, во всяком случае, наиболее разумный путь в литературе.

Из нас многие сейчас вышли на литературный марафон, и я могу сказать, что у Камари Тонояна истинно марафонский шаг и дыхание.

Грант Матевосян

СОДЕРЖАНИЕ

Сказка лесной дочери	5
Голубь	12
Голуби вруна	19
И еще дали асфальтовых дорог	28
Проклятый дождь	38
Для чего люди живут	51
Все счастье	63
Хоть один друг	87
Двое среди сумрачных холодных домов	95
Бог суровой тайги людей	106
Об авторе	138

Тоноян Камари Гайкович
ПРОКЛЯТЫЙ ДОЖДЬ. Рассказы. Перевод с арм.
А. Баяндур. М., «Молодая гвардия», 1967. Серия
«Молодые писатели».
144 с. С(Арм)2

Редактор *С. Шевелев*
Художник *А. Костин*
Худож. редактор *Л. Белов*
Техн. редактор *Г. Лещинская*

Сдано в набор 14/IX 1967 г. Подп. к печ. 15/XII
1967 г. А12057. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типограф-
ская № 3. Печ. л. 4,5 (усл. 6,3). Уч.-изд. л. 5,2.
Тираж 65 000 экз. Заказ 2088. Цена 15 коп. Т. П.
1967 г., № 330.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Присылайте Ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания издательству и автору.

К библиотечным работникам просьба организовать учет спроса на книгу и сбор отзывов читателей.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Сущевская ул., 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», отдел пропаганды.